

Андрей
МЕЖЕРИЧЕР



В СВЕТЕ
зеленой ЛАМПЫ

Андрей Межеричер

В свете зеленой лампы

Издательство «Четыре»

2023

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Межеричер А.

В свете зеленой лампы / А. Межеричер — Издательство
«Четыре», 2023

ISBN 978-5-907738-06-5

Старинная зеленая лампа на письменном столе автора этой книги дала название полной захватывающих событий саге о семье Межеричер. Историю семьи рассказывает читателю Лиза Духова – няня, прожившая с четырьмя поколениями Межеричеров почти пятьдесят лет. Со свойственной ей непосредственностью описывает она городскую и деревенскую жизнь, времена сталинских репрессий и Отечественной войны, послевоенные годы, детально знакомит с бытом семьи в разные эпохи. Ее повествование – это собранные по крупицам истории о любви и смерти, ссорах и дружбе, верности и предательстве. Историю страны невозможно представить в отрыве от историй семей, живших в ней, и данная книга позволит в этом убедиться. Предназначено для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907738-06-5

© Межеричер А., 2023
© Издательство «Четыре», 2023

Содержание

Вступление	6
Забытый сундук	6
Межеричеры	8
Няня	9
Часть первая. Пётр и Мария	10
Коровья смерть	11
Ракушино	13
Болотная Ньюша	16
Надо уезжать	19
Ленинград	22
Профессор и барыня	25
Дом на Подольской улице	29
Щегол	32
Отпуск	34
Снова на Подольской	38
Последний год в Ленинграде	42
Часть вторая. Леонид и Ольга	49
Третий дом Советов	49
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Андрей Межеричер

В свете зеленой лампы

© Андрей Межеричер, 2023

© Издательство «Четыре», 2023

* * *

Вступление

Забытый сундук

Я, как и многие другие люди, люблю историю своей семьи, полную интересных событий прошлых лет и даже веков. Она похожа на давно забытый старинный сундук с вещами, случайно найденный в дальнем углу чердака. Много лет его никто не видел и даже не вспоминал, что он где-то есть. А теперь представьте себе, что именно вам вдруг удалось его обнаружить. Вот вы с трудом выдвигаете свою находку из темного угла, где она пылилась десятилетиями, незаметная под разным ненужным хламом. Тянете сундук по полу на середину, туда, где больше света и воздуха, и с усилием отпираете заржавевший замок. Ваши руки сами смахивают с дубовой поверхности, обшитой толстыми полосками меди, паутину и пыль прошедших времен, настолько вам интересно, что же там внутри. И вот вы открываете со скрипом тяжелую крышку, в течение долгих лет прятанную от любопытных глаз и неосторожных рук свои сокровища.

Здесь нет ни золота, ни дорогих колец, но имеется нечто другое, не менее ценное для потомков, желающих заглянуть в прошлое своей семьи. Вы вынимаете вещь за вещью, с интересом рассматривая их и откладывая в сторону примерно в том порядке, как они лежали в сундуке. Вот старый фотоаппарат в потертом дерматиновом чехле – такие сейчас есть только в музеях. А под ним стопка семейных альбомов с пожелтевшими по краям фотографиями начала прошлого века. Вот длинная нитка темно-красных, почти черных, гранатовых бус и рядом, в маленькой бархатной шкатулке, серебряная ажурная брошь в виде бабочки. Кто носил эти украшения? Бабушка? А может, прабабушка?.. Вот старая пустая, но не очень чистая чернильница и ручка с железным, слегка заржавевшим пером. Тут же стопка писем в конвертах и без, аккуратно перевязанная тонкой бечевкой крест-накрест.

Ты перебираешь эти вещи, хранящие на себе следы прошлого, пытаешься связать их в памяти с событиями собственной жизни. Может, что-то из этого ты уже видел? Хотя бы в детстве? Или, может, тебе о них рассказывал кто-то из старших родственников в том возрасте, когда тебя это не интересовало? Ты стараешься уловить внутри себя какой-нибудь отклик на предметы и листки, которые держишь в руках, углубляешься в воспоминания... Но нет, вспомнить не получается, а те, кто мог поведать тебе историю вещей, теперь уже в других мирах.

Но вот твой взгляд останавливается на матерчатом свертке размером побольше, лежащем у самой стенки этой семейной сокровищницы. Что же там может быть? Ты берешь в руки этот довольно тяжелый предмет и начинаешь разматывать ткань, в которую он бережно обернут. Один оборот, второй – и у тебя в руках оказывается настольная лампа с зеленым абажуром на гнутой бронзовой ноге. Видно сразу, что вещь старинная и не из дешевых. Откуда она взялась? Кто и где ее купил, на чьем столе она стояла, в сумерки заливая комнату своим изумрудным светом? Ты ставишь ее на стол, вкручиваешь лампочку и нажимаешь маленькую черную кнопку выключателя на бронзовой ажурной подставке. Свет, исходящий от зеленого стеклянного колпака, действует завораживающе: ты словно погружаешься в тайны времени, тебе хочется получить ответы на все свои вопросы, стать причастным к той истории семьи, которая была с этой лампой связана.

Но вот пора всё складывать обратно в сундук. И ты аккуратно кладешь туда вещь за вещью, затем закрываешь массивную крышку и с трудом, упираясь ногами в пол, задвигаешь его на место. Ты понимаешь, что этот сундук и его содержимое уже не будут забыты, ведь теперь память хранит в себе увиденное. И мысль об этом погружает в воспоминания детства и фантазии о временах, когда тебя еще не было. Образы тех ушедших лет ты смог уловить именно

в открывшемся таинстве этого заветного сундука... И вдруг, подняв глаза, замечаешь стоящую на столе лампу, которую забыл завернуть и положить обратно к прочим ценностям, обнаруженным так внезапно. И тебе не хочется опять выдвигать и открывать сундук, ты боишься испортить этим уже закончившееся небольшое, но важное событие, вызвавшее у тебя столько чувств и мыслей о прошлом твоей семьи. А может, ты забыл ее не случайно? Может, так и надо – пусть лампа стоит на столе и своим светом напоминает тебе об ушедших временах...

Ты живешь прежней жизнью, но она уже не совсем такая, какой была раньше. В тебе оживают фотографии и строки писем твоих ушедших родных, тебя греет вечерами зеленый свет старинной лампы. Иногда, думая о своих предках, ты представляешь себе, как жили они, и появляется настойчивое желание узнать больше об их прошлом, порыться в сундуке еще глубже, добравшись до самого дна. Тебе хочется насытить появившееся любопытство потомка и передать эти чувства дальше по цепочке родства своим детям и даже внукам...

В моей жизни было много разных событий, а также много разных людей, которым я благодарен за любовь и заботу, ощущаемые мной на протяжении всех прожитых лет, но особенно – в детстве и юности. Конечно, в первую очередь это мои родители и близкие родственники: сестра, бабушка, сестра отца – моя тетя, мои двоюродные сестры – дети маминого брата, особенно старшая из них – моя одноклассница Лариса. Оглядываясь назад, я понимаю, что был счастливым ребенком, подростком, юношей. Мое же собственное чувство любви, даже в детском возрасте, распространялось не только на тех, кто каким-либо образом присутствовал в моей жизни, но также и на тех, о ком я слышал лишь рассказы родных, тех, от кого отделяли меня два или три поколения, тех, с кем мне не довелось встретиться при их жизни...

Межеричеры

С детских лет я любил историю, особенно прошлое своей семьи. Будучи ребенком, я мало знал о событиях, которые случились до меня, но очень интересовался всеми оставшимися от прежних поколений вещами и фотографиями. Они хранились в семейном архиве на одной из полок шкафа или в ящиках письменного стола моих родителей. Мне тогда казалось, что предметы из прошлого интересуют только меня и потому именно я имею право на все эти сокровища. Я брал потихоньку и прятал у себя вещи, которых касались руки моих предков: студенческую записную книжку деда, увеличительное стекло в металлической оправе на истертой деревянной ручке, оставшееся от бабушки, работавшей редактором в газете, старый циркуль в кожаном чехольчике от моего другого деда, бывшего инженером, круглые карманные часы марки «Мозель» – старые, обшарпанные и неработающие, скорее всего принадлежавшие моему прадеду по линии отца. Родители время от времени замечали пропажу своих семейных артефактов и сразу шли искать их именно в мою комнату. Они устраивали досмотр ящиков моего письменного стола, поднимали матрас на моей кровати и выгребали оттуда не только то, что я перечислил, но еще и старые фотографии, письма, папины ордена с войны и прочие семейные реликвии. Меня за это не наказывали, но ругали сильно и довольно часто.

Интересно, что желание держать у себя все реликвии и истории жизни предков не угасло до сих пор. Уже появились не только дети, но и внуки, и, казалось бы, надо передать им хотя бы часть того, что я собрал и бережно храню. Но что-то мешает это сделать. Понять бы, что именно. Может быть, опасение, что мои потомки будут не так бережно относиться к прошлому нашей семьи и что-то потеряется безвозвратно? А может, мой страх разрушить целостность той истории, что удалось собрать в одну семейную сокровищницу?

Рассказать о моих родных, представителях предыдущих поколений нашей семьи, хотя бы тех, что носили ту же фамилию, что и я, мне хотелось всегда. За два десятилетия поисков я узнал многое о своих предках и захотел поделиться этим в книге, собрав под одной обложкой историю собственного детства и юности, истории моих родителей, моих бабушки и дедушки, семьи моего прадедушки, носившего фамилию Межеричер. Именно они, Межеричеры, интересовали меня больше всего.

Няня

Я начал планировать книгу, но столкнулся с важной для меня этической проблемой, которую нужно было решить, прежде чем приступать к повествованию. Хорошо изучив своих предков, в том числе их родных и друзей, я хотел всех изобразить как можно более правдиво. Но как поступить с их недостатками, о которых мне известно, с теми чертами характера и особенностями, которые были не самыми привлекательными? Я не могу взять и написать, что моя прабабушка была сварливой и чрезмерно властной, отец – до предела упрямым, а его сестра – с детства больна психически. Перо не поворачивается. Так как же быть? И я придумал решение этой задачи.

Дело в том, что у нас в семье много лет жил еще один человек, которого я любил так же сильно, как свою родную маму. Это моя няня. Она воспитывала меня почти с рождения и до того времени, когда я уже сам стал отцом. Не имея мужа и детей, тетя Лиза всю свою женскую любовь отдала мне и даже стала моей крестной. Но важно не только это, а еще и то, что она прожила у нас, в семье Межеричер, почти пятьдесят лет!

В тридцатые годы прошлого века Лизавету взял из деревни к себе в услужение мой прадед Пётр. Девушке тогда было семнадцать лет. После смерти прадеда она перешла работать в семью его сына, моего деда, затем к моим родителям и у них жила до последних своих дней, воспитывая меня.

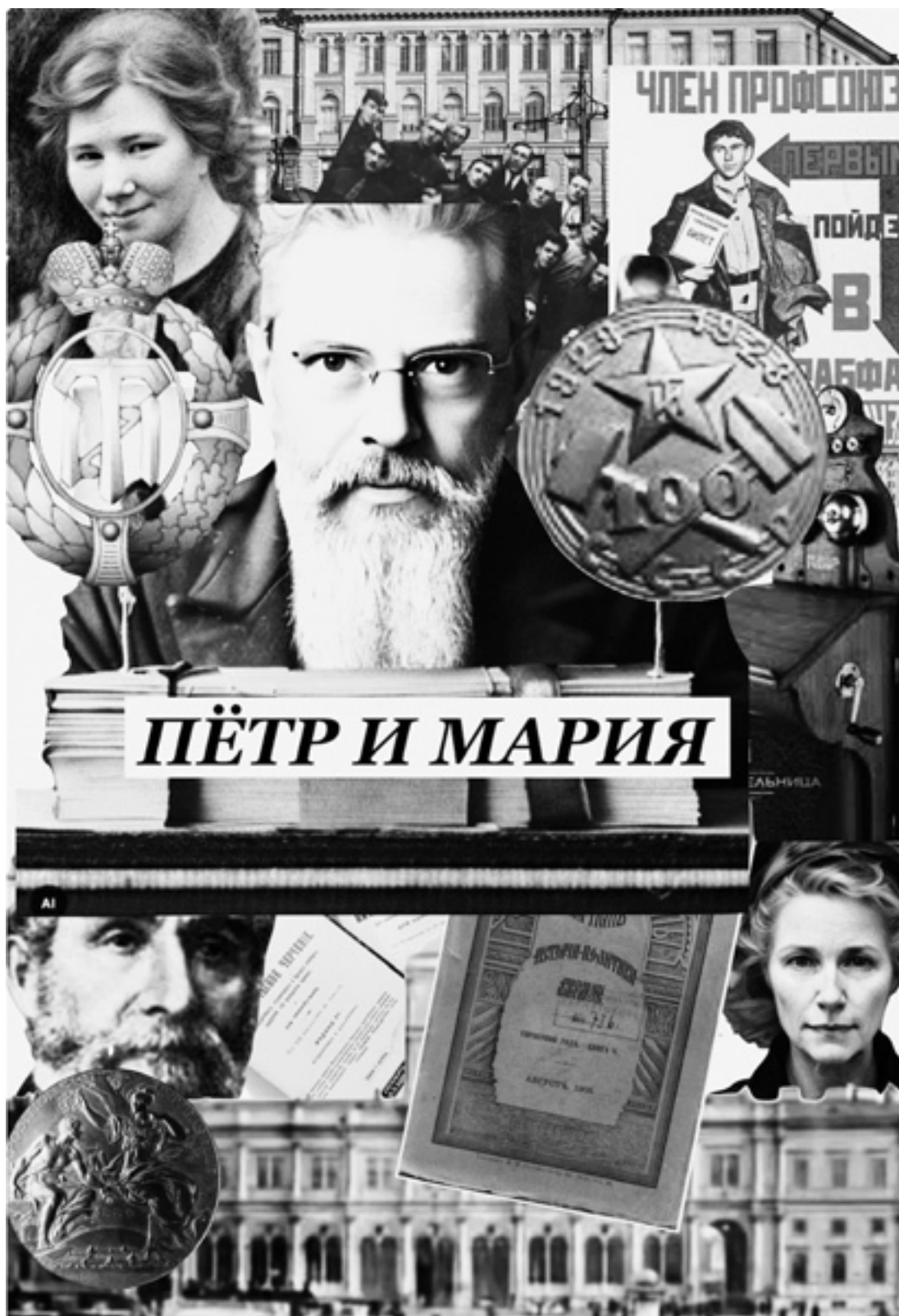
Она, сама родом из деревни, быстро научилась и манерам, и даже языку столичных жителей, много рассказывала мне о прошлом семьи и тех моих предках, кого знала лично. А я запоминал и фиксировал у себя в воображении образы ушедших родных со слов не просто служанки и очевидца их жизни, а фактически члена семьи.

Вот почему повествование будет вестись от лица Лизы. Именно она познакомит читателя с четырьмя поколениями Межеричеров. Я делил с няней комнату почти до восемнадцати лет, знал и понимал ее, как никто другой. Повторюсь, за те годы, что она, крестьянская девушка, жила в нашей семье, ее манера говорить сильно изменилась. Лиза, впитав в себя культуру московской и ленинградской интеллигенции, стала совсем другим человеком. Из лексикона няни напрочь исчезли слова, характерные для ее малой родины, поэтому уверен, что рассказ о нашей семье будет передан грамотно, с сохранением особенностей речи, свойственных среде, в которой Лиза находилась последние десять – пятнадцать лет. Конечно, то, что вы читаете, – это мой стиль письма и мои словесные обороты, но поверьте, если бы это писала она, то вы, может быть, и не заметили бы разницы, так как именно она меня вырастила и воспитала, именно она делала со мной школьные домашние задания и читала книги.

Прошное всегда норовит ускользнуть от нас. Одни поколения сменяются другими, и этот процесс бесконечен. Возможно, через рассказ няни мне удастся восстановить и показать вам те фрагменты жизни моей семьи, которые уже скрыла от нас поволока времени...

Автор

Часть первая. Пётр и Мария



Коровья смерть

По нашей деревне среди ночи шла странная и пугающая толпа: три женщины в холщовых нижних рубахах, с распущенными волосами тащили большую тяжелую соху, оставляя за собой на середине улицы длинную глубокую борозду. Рядом с ними – еще восемь женщин, молодых и старых, тоже в одном исподнем, волосы неприбранные, в руках у кого вилы, у кого топор, а у кого просто толстая палка. Деревня будто вымерла за темными окнами домов: ни звука, ни света. Чувствовалось, что жители не спят, а затаились за задернутыми занавесками и запертыми на все засовы и замки дверьми. Луна на темном небосводе освещала зловещим светом это необычное шествие. Слышно было тяжелое дыхание. Ремни от сохи глубоко врезались в плечи и грудь женщин. Они натужно пели: «Девять девок, три вдовы – смерть коровья, уходи!»

И их голоса далеко слышны были в ночной тишине. Вот они остановились у одного из домов и стали громко стучать в окна и двери:

– У вас ли спряталась коровья смерть? Открывайте, отдавайте ее нам!

И из-за закрытых дверей раздавались испуганные голоса:

– Никого у нас чужого нет, идите дальше, люди добрые!

Усталые вдовы снова запрягались в соху и тащили ее дальше, к следующему дому, оставляя на земле глубокий след и громко повторяя нараспев свой заговор.

Помню, что я тогда была маленькой, а вот сколько мне было лет, не помню. Пастух наш каждое утро выгонял коров и овец на пастбище, но в тот год август был невозможно жарким, всё лето ни облачка на небе. Даже наша речка пересохла и посевы стали желтеть без дождя, еще не созрев. В это же лето две коровы из деревенского стада сдохли от неизвестной болезни. Тогда стали говорить, что это пришел из чужих мест злой дух, коровья смерть, и прячется у кого-то из жителей в доме или хлеву, его надо срочно найти и выгнать в лес. Чтобы сделать это, есть древний обряд: пропахать сохой вручную вокруг всей деревни и через ее середину глубокую борозду.

Деревенский староста накануне проходил по всем домам и наказывал жителям, чтоб этой ночью все сидели по домам, никуда не выходили: вдовы будут искать и выгонять коровью смерть.

Рассказывали, что эта коровья смерть ходит по селам и дворам в виде черной кошки или худой собаки, а иногда ночами ее видят как скелет коровы или как костлявую ведьму в черной накидке. Она наводит порчу на скотину, доводя ту до смерти. Еще с давних времен, когда в селах неожиданно начиналидохнуть коровы или другой скот, в сумерках у околицы собирали со всех дворов девять девок и трех вдов и запрягали в соху.

Сейчас такое может показаться странным или смешным, но мне, маленькой девочке, было совсем не смешно и даже очень страшно. Я в этот день ни на шаг не отходила от мамы и всё время спрашивала, не придет ли к нам во двор эта страшная ведьма – коровья смерть. Вечером, ближе к ночи, когда уже сильно стемнело и мы собирались ложиться спать, вдруг послышались людские голоса за окном, как будто кто-то пел. Голоса приближались и становились всё отчетливее. В щелочку окна мы с сестренкой и братиком увидели, как наши деревенские бабы идут в сторону нашего дома, с трудом таща за собой соху, повторяя слова заклинания. Я прижалась к маме. Она же, успокаивающе поглаживая меня по голове, сказала шепотом:

– Не бойся, это идут наши вдовы, они прогоняют всё зло из деревни.

В окна и двери стали сильно барабанить палками и кулаками, крича:

– Не у вас ли коровья смерть? Отдайте ее нам, мы пришли за ней!

Мама, обняв меня и сестричку, им отвечала:

– Нет у нас никого чужого, только я и дети мои! И корова наша не хворающая. Идите себе дальше, ищите ее в другом месте!

Мы, дети, были напуганы и сидели смирно. Когда же вдовы потащили соху дальше, напевая и гремя на всю улицу своими орудиями, Вася, который был постарше, всё же спросил:

– А если кто скажет, ну в шутку, мол, она здесь, у меня! Что тогда будет?

Мама присела перед ним на корточки и ответила серьезно:

– Плохая шутка. Был у нас один такой шутник несколько лет назад, ответил им примерно так, как ты сказал. Они все стекла в его доме побили, дверь выломали, его поймали и били дубинами, пока кости не переломали. Чуть не убили.

Утром все дети рассматривали глубокую борозду, которую пропахали через всю деревню сохой вдовы, выгоняя злого духа.

Ракушино

Меня зовут Лиза Духова. Мама называла Лизонькой, а брат Вася по-нашему, по-деревенски – просто Лизкой. Я хочу рассказать вам о себе, родных и своей судьбе, связанной с четырьмя поколениями семьи Межеричер, с которыми я прожила большую часть своей жизни.

Я родилась 5 мая 1912 года в затерянной среди лесов и болот российского Поволжья маленькой деревне под названием Ракушино. Это глубинка Ярославской области в тридцати километрах от города Углича. Для меня это родина, место, где я выросла. Сюда не ходил и до сих пор, наверно, не ходит никакой регулярный транспорт. Вплоть до 80-х годов XX века, когда я была дома последний раз, гости добирались до нашей местности из соседних городов Рыбинска или Углича только на попутных грузовиках или по старинке – на подводах, запряженных лошадьми. Вы спросите, почему так? Да потому, что здесь всё как будто замерло, часы остановились в далеком прошлом. В этой глуши люди не живут: старики просто доживают свой век, а молодежь бежала и бежит в города. Такие далекие, заброшенные места, как мое, или вымирают, или уже вымерли. Но я люблю свою деревню, хоть и нечасто бывала в ней последние годы. Там все-таки дом, в котором я родилась, могилы родителей. Как такое забыть?

Дорога, идущая по лесу к деревне, почти на всем своем протяжении зажата по обеим сторонам стеной из высоких, плотно стоящих друг к другу елей. Они погружают окрестности в вечный сумрак густой, непробиваемой тени. Дорога в те годы, когда я еще сюда приезжала, была узкой, в одну колею, очень извилистой и ухабистой, вся в глубоких канавах от колес и копыт. Едущие к нам испытывали уныние, усталость от бесконечной тряски и ощущение дремучести этой местности. Но примерно в километре от деревни среди елей начинали появляться березы, рябины и другие лиственные деревья и кусты, вокруг становилось светлее и дышалось легче. И внезапно дорога выныривала из лесного плена на широкий простор, где солнце заливало окрестности до горизонта. Все словно пробуждалось от спячки и уныния, начинали улыбаться, глядя по сторонам, разговаривать друг с другом. Их радовали поля золотой пшеницы по обе стороны дороги. Ветер гнал по ним волны, как будто невидимым гребнем расчесывая желтую шевелюру.

Сама деревня была небольшой: примерно пятьдесят домов, стоящих друг напротив друга вдоль единственной улицы. Она начиналась у околицы, где дорога вливалась в нее, изгибаясь крючком у высокого дуба возле первого деревенского дома, а оттуда, уже прямая, как стрела, казалось, пронизывая всё на своем пути, разрезала надвое и само селение, и поля за домами и огородами. Посередине оставался только неровный ряд старых деревянных столбов с фонарями. Не успев разогнаться, улица уже заканчивалась возле большого колхозного коровника и густых зеленых лугов для сенокоса. Там она переходила опять в ухабистую дорогу, извивавшуюся в сторону подступавшего всё ближе угрюмого густого леса. Вскоре и дорога начинала мельчать и потихоньку сходила на нет, превращаясь у первой опушки в обычную тропинку для грибников. Дальше проезда не было, да и некуда было ехать: там начиналось большое топкое болото.

В центре деревни стояла бывшая хозяйская контора, во времена моих детства и юности – сельсовет с красным флагом над входом. Ближайшие клуб, танцы и церковь были только в соседней деревне, за шесть километров.

В той самой соседней деревне мой отец, Александр Васильевич Духов, еще с царских времен был церковным звонарем на высокой колокольне. А в нашей деревне он был помощником старосты. Его у нас уважали, вспоминая и после смерти добрым словом. Папу помню плохо: он умер, когда я была еще маленькой. Но, по рассказам, он был видным и серьезным мужчиной, грамотным – читал в церкви во время служб. Моя мама Мария работала в поле, занималась домашним хозяйством, ну и растила нас, детей. Она читала и писала не очень хорошо, так как

не ходила в школу в детстве, но очень хорошо считала, особенно деньги. Дожила до глубокой старости в своем доме и даже два раза приезжала ко мне в Москву, куда я в сороковых годах переехала жить. Нас, детей, в семье было трое: моя младшая сестра Мария, я и старший брат Василий. Время до советской власти я совсем не помню: была тогда еще мала. Да и не так уж много изменилось с ее приходом. Как жили до нее, так жили и после.

Всю мою взрослую жизнь возле кровати, на тумбочке, стояла дорогая мне фотография родителей, сделанная в дни их женитьбы. Я ее хорошо помню. Она была размером как открытка, всего с ладонь. Снимок, уже пожелтевший от времени, был наклеен на толстую картонную подложку с красивой, тисненной золотом рамкой. На нем изображена моя мама, еще совсем молодая. Она сидела на обитом плюшем стуле с высокой резной спинкой. На ней пышное белое платье, а в волосах белая кружевная накладка. На коленях лежал большой букет цветов. Это точно было в Угличе: дальше в те времена простые люди из наших мест даже по торжественным случаям редко ездили. Папа тоже был на этой фотографии: он стоял рядом, но чуть позади мамы, чинно положив ей руку на плечо. Молодой и симпатичный, с небольшими, завитыми высоко вверх усиками и темными волосами, причесанными на прямой пробор. На нем была шелковая рубашка, подпоясанная ремнем поверх модных тогда брюк галифе, и тоже модные сапоги, собранные внизу гармошкой. Позы у обоих моих родителей напряженные, точно застывшие: видимо, нечасто им приходилось бывать у фотографа. На картонном обороте фотоснимка розовый фигурный штамп: «Фотография Бутуз». Фото было сделано еще в царское время, вероятно в десятых годах прошлого столетия. Куда делось потом, никто не знает. Оно исчезло, но сохранилось в моей памяти.

Я помню наш одноэтажный дом в Ракушине, покрашенный в голубой цвет. Он стоял почти на краю деревни. После нас до околицы еще только два дома. Наш был окружен высоким забором с широкими воротами для проезда телеги. К задней стороне дома примыкал хлев, где обитала вся наша живность, за ним начинался огород. В самом доме была кухня с русской печью и большим обеденным столом, спальня родителей и еще комната для нас, детей, или приезжавших гостей. Когда ночевали гости, мы с Васильком залезали спать на печку, а Марийка спала с родителями. От кухни шел довольно узкий коридор, куда выходили комнаты. Дверей у нас не было, вместо них висели тяжелые портьеры, закрывавшие вход. Затем были сени, откуда вели две двери: одна – на широкое и светлое крыльцо во двор, другая – на крутую лестницу в темный, но просторный хлев позади дома.

В хлеву с одной стороны стояла корова, потом небольшой загон для двух овец, за ними место для гусей за загородкой и на самом верху насесты для кур. В отдельной части справа было место для лошади в собственном стойле, и рядом, почти у самых ворот, стояла, распустив в разные стороны свои оглобли, как длинные неуклюжие руки, старая, но крепкая, еще отцовская телега, высланная свежим сеном. В хлеву всегда было сумрачно и довольно прохладно. Вход чаще всего закрывали изнутри толстой и длинной переключиной – «от нехороших людей», как говорила нам мама. Сквозь щели в дощатых стенах пробивался свет со двора, слышался скрип уключин да звон длинной цепи с висющим на ней ведром, когда мама доставала из колодца воду.

Под крышей хлева был сеновал, куда вела высокая и узкая приставная лестница. Это была вторая и самая любимая наша детская комната. Там мы и прятались, и играли, и отдыхали, когда солнце сильно припекало. До сих пор помню усыпляющий запах в жаркий летний день и шелест сухого сена с вкраплением в него высохших ярко-синих васильков. Помню, как, перебирая руками, находила в его густоте листья лесной земляники с засохшими на их черенках маленькими, но ароматными ягодками. Помню пробивающийся тонкий лучик солнца через щель в досках, и танцующие в его свете над головой пылинки, и похожих на них мелких комариков, жужжащих тонко, неприятно и жалящих зло, если зазеваешься и не прихлопнешь их на лету. Помню крепкие, но привычные нам, детям, выросшим на этом сеновале, запахи и

негромкие звуки, издаваемые домашними животными в темноте хлева. Помню хлопанье крыльев кур, покрякивание гусей и низкий протяжный голос нашей коровы. Хотелось лежать, притихнув и закрыв глаза, слушать, дышать ароматом сена и говорить только шепотом.

Детство наше не было беззаботным. Оно проходило в работе на огороде и в поле, а в редкие часы досуга – в играх друг с другом и соседскими детьми. У детей в деревне забот и обязанностей много: надо и родителям помочь, и скотину покормить, а порой и выгнать на пастбище, и яички из-под кур и уток собрать, и лучины наколоть для освещения дома вечером. Бывало, что приходилось и на рынок ездить с мамой, торговать салом или овощами и яблоками. Но мы не столько помогали продавать, сколько смотрели, чтобы кто чего не украл.

Утром обычно все, кроме маленькой Марийки, вставали рано, еще до рассвета, но свет не зажигали и двигались тихо, чтобы ее не будить. Телу было холодно после нагретой постели, а босым ногам – зябко на холодном дощатом полу. Но вот мама разжигает печь, мы все как тени, с молоком и кусками хлеба в руках, двигаемся почти беззвучно в ее красноватом огне. Приятно запахло дымком и потянуло теплом от горящих дров... Мы, дети, бывало, и засыпали опять прямо здесь, на лавке, на которой сидели, от тепла и сытости, но только на минутку: голоса родителей уже звали нас на двор.

Вася был больше с отцом, чем с нами: то косить, то запрягать, то что-нибудь чинить, то на колокольне помогать. Мы с Марийкой дома: ходили за матерью то полоть, то сажать на огороде или в хлеву помогали прибирать и кормить скотину. Мама успевала всё: и массивные скрипучие ворота открыть утром, чтобы выгнать корову в стадо, и тяжелое ведро с водой принести, и нас покормить или позвать на помощь. Она ругала нас редко, всё больше хвалила, и мы росли старательными, ласковыми и веселыми детьми. Мы с сестрой и мамой многое делали вместе: месили тесто, учились орудовать коромыслом и ухватом в печи, пели песни в три голоса. Вечером, уже в сумерках, папа с Васей возвращались домой из церкви или с поля и мы, усталые и голодные, всей семьей собирались за столом. Мама зажигала лучину на высокой треноге, папа читал вслух из старенького Евангелия, а мы то шептались, то толкались, то хихикали, пока мама на нас не шикнет и не посмотрит строго. Тогда ненадолго затихали, но потом начинали толкаться опять. Вскоре на столе появлялась еда в пышущем жаром большом круглом чугуне и завернутый в полотняную ткань испеченный утром ароматный хлеб, а к нему еще не успевшее остыть молоко вечернего надоя в двух высоких глиняных крынках.

Мы с Васильком съедали ужин быстрее всех и сидели, перешептываясь, в ожидании, когда разрешат выйти из-за стола. Родители ели не спеша, видимо, только за столом почувствовав в полной мере усталость, накопившуюся за день. Мария, самая маленькая, ела медленнее всех, ей и стол был высок, и ложка велика, а мы с братом громким шепотом подгоняли ее, чтобы вместе бежать во двор. Ну вот наконец папа положил ложку на стол – это для нас был сигнал, что ужин закончился. Мы ныряем со своей лавки вниз под стол, помогаем неповоротливой Марийке и просто мчимся к двери. Нас догоняет окрик мамы:

– Куда?! А спасибо сказать, а лоб перекрестить на икону?!

Но нас уже и след простыл.

Болотная Ньюша

У соседских ворот вечером обычно собирались все дети нашей части деревни. С детьми другой половины мы не дружили, даже иногда враждовали. Среди нас были и такие, как мы, и постарше, и такие малыши, как Марийка, увязавшиеся за старшими братьями и сестрами. Мы обычно всей компанией шли на пустырь рядом, за околицей деревни, жгли костер, пекли картошку и рассказывали жуткие истории, в которые и сами верили. В будние дни после захода солнца уже не было сил ни у кого из детей играть в шумные игры, это больше были забавы для праздничных и воскресных дней, когда все приходили или приезжали домой после церковной службы в соседней деревне. Родители в обычные вечера располагались во дворе у дома или у колодца на лавочке и отдыхали, если погода позволяла. Они сидели молча, глядя на отблески нашего костра вдалеке и иногда узнавая смех или голоса своих отпрысков.

– Федька, расскажи, как у тебя голова поседела, – попросил вдруг кто-то из ребят, сидевших с нами вокруг костра.

И все остальные стали тоже просить:

– Расскажи! Расскажи!

У того паренька, к которому они обращались, и правда одна прядь волос на голове была белая-белая. Ему было лет пятнадцать, он сидел в телогрейке не по росту с завернутыми рукавами, протянув к огню ноги в больших, изношенных до дыр сапогах, видимо отцовских. Федька улыбнулся, показав неровные зубы, подсел еще ближе к огню, переворачивая веткой картошку с одного бока на другой – мы все ее пекли на углях костра, – и сказал:

– Хорошо, расскажу. А бояться не будете? История ведь страшная.

– Не будем, не будем! – загалдели дети и, глядя на него с интересом, тоже придвинулись к костру поближе.

– Ну, может, только чуть-чуть, – тихо сказала Марийка, но старший брат тут же дал ей подзатыльник.

– Молчи, сопля, раз мы тебя с собой взяли, а то сейчас быстро домой пойдешь! – пробурчал он сердито.

– Да ладно тебе, – миролюбиво сказал Федька. – Она же маленькая, ей бояться можно. Все негромко засмеялись.

– Посмейтесь пока, – продолжил он, – а то как историю расскажу, кровь в жилах стечь будет, а может, кто-нибудь тоже поседеет.

Голос его стал вдруг низким и немного хриплым. Смех у костра сразу стих, и Федька начал рассказывать:

– Люди сказывают, что давным-давно в нашей деревне, на краю у леса, стоял дом и жил в нем дед Афанасьич. У него не было одной ноги до колена – вроде на войне потерял, – а вместо нее специальная деревяшка, прикрепляемая ремешками. И когда он шел по деревне, деревянная нога скрипела. Все узнавали его по этому скрипу и говорили друг другу: «Слышишь, Афанасьич идет?» Он был как все в деревне: немного плотничал, ходил за скотиной, работал на поле. Жена у него померла, рожая второго ребенка, и того тоже спасти не удалось. Осталась у него старшая дочка, которую он без памяти любил и оберегал. Звали ее Ньюша...

Федька откашлялся и продолжил:

– Когда всё случилось, было Ньюше лет десять. Отец на поле, а она пасла козу на полянке недалеко от леса, но загляделась то ли на цветочки, то ли на букашек и не заметила, как рогатая убежала куда-то. Когда девочка поняла, что козы нет, то стала ее звать и искать повсюду. Козочка была молодая и серого цвета, отсюда и кличка – Дымка. Ньюша сначала звала ее: «Дымка! Дымка!» – и прислушивалась, вдруг отзовется.

А лес у нас за деревней сами знаете какой – дремучий и везде болота с кочками, по которым можно прыгать и не проваливаться. Ну а если промахнешься, выбраться будет трудно. Ньюша услышала жалобное бление козы из глубины леса со стороны болота и побежала на выручку. Она ловко прыгала с кочки на кочку, держась за ветки, но все же промахнулась и упала прямо в самую топь. Как она ни кричала, как ни барахталась, густая чавкающая жижа затягивала ее всё глубже и глубже, и никто ее не услышал и на помощь не пришел... Смотрите, картошка сгорит! – вдруг истошно закричал Федька дурашливым голосом.

Все вздрогнули, а девочки запищали от страха.

Федька загоготал, довольный, что удалось всех напугать, и добавил уже обычным голосом:

– Правда картошка сгорит, пока вы рты раскрыли и уши развесили. Давайте перекусим малёк, а рассказ может и подождать. У кого-нибудь есть щепотка соли?

Все стали протягивать ему руки с солью, бережно завернутой в обрывки газетной бумаги, и каждому хотелось, чтоб именно в его соль макнул Федька свою картофелину. Ему же, судя по всему, нравилось быть в центре внимания, и он хотел продлить этот момент, хотел, чтоб его еще и еще попросили рассказать. Все, будто очнувшись ото сна, принялись деловито выкатывать к себе поближе уже спекшуюся и дымившуюся картошку с подгоревшим бочком, подхватывать ее, горячую, в руки и, подкидывая вверх, перебрасывать с ладони на ладонь, дую, чтобы скорее остывала. А как немного перекусили, стали опять просить рассказать, что было дальше. Пламя костра освещало лица детей, перепачканные золой у рта и носа, а в любопытных глазах блестели его отсветы.

– Ну хорошо, только, чур, не бояться... – начал Федька рассказывать голосом, ставшим вдруг опять низким и сиплым.

Марийка подвинулась ко мне плотнее и взяла меня за руку.

– Старик Афанасьич запил после пропажи дочки и через два месяца от горя или пьянства умер. Но странное дело: нет-нет да и слышали в деревне по ночам, ближе к полуночи, его скрипучие шаги и то у одного, то у другого соседа стали пропадать козочки. Ей-богу, не вру, можете сами спросить у стариков.

– Да ты давай ближе к делу, как встретил Болотную Ньюшу рассказывай, нечего тут нам время тянуть! – прокричал соседский рыжий мальчик, сидевший чуть поодаль от костра.

Федька, даже не взглянув на него, продолжил рассказ:

– С той поры жители нашей деревни, собирая грибы или ягоды в лесу, как услышат, что кто-то зовет в глубине леса: «Дымка! Дымка!» – сразу понимали, что зашли слишком близко к опасным топким местам и это голос Болотной Ньюши, утонувшей здесь в давние времена, и, схватив свои корзинки, торопились в сторону своего дома... Ну вот, случилось это четыре или пять лет назад, я был тогда маленьким, несмышленым и непослушным. Мне сколько раз мамка говорила: «Феденька, пойдешь за грибами или ягодами, к болоту не ходи, иди в другую сторону, а то тебя кикимора болотная утащить и погубить может. А ты ведь у меня один!» А я лишь отмахивался: «Ладно!» А сам всерьез слова ее не принимал.

И вот собирал я грибы и зашел как раз туда, в чащу, где болото. Слышу, кто-то зовет: «Дымка! Дымка!» Ну, думаю, кто-то меня пугает или разыгрывает, а если это кикимора, то у меня, глянь, ножик есть, которым грибы режу, очень острый, батя точил. Иду по лесу дальше, смотрю под ноги, грибы ищу. И тут чувствую, кто-то на меня смотрит не отрываясь. Поднимаю голову, а напротив меня стоит она, Болотная Ньюша: сама тоненькая и почти прозрачная, в волосы лилии и водоросли вплетены, а всё платье мхом покрыто, как мехом. И говорит она мне приятным голосом: «Здравствуй, Феденька! Я давно тебя жду, давай поиграем в догонялки». Я от вида ее оцепенел, и по спине потек холодный пот. Стою и ни двинуться, ни сказать ничего не могу. А она повернулась и побежала, засмеявшись мелодично, как будто колокольчик зазвенел на шее коровы или козочки. И вдруг ноги сами понесли меня вслед за ней. Грибы из корзинки

стали вываливаться от моего бега, и тут я вспомнил про ножик. Я взял его в руку, а она как ватная. Тогда я кольнул себя ножом в ногу, чтобы в чувство прийти. И мне это помогло. – Федька всё больше и больше сам распалялся от своего рассказа. – Нет, я не перестал бежать за Болотной Нюшей, но стал лучше понимать, что делаю, как бы очнувшись от ее чар. Вижу, мы подбегаем ровнехонько к болоту. Ну, думаю, пропал! А сам бегу за ней, но не прямо, а немного вбок, в сторону двух стоявших рядом берез. Я прыгнул вперед и застрял между ними. Ножик вынул, корзинку отбросил и приготовился защищаться. Нюша остановилась, повернулась ко мне своим красивым детским лицом с большими, как у куклы, глазами и спрашивает:

– Феденька, что же ты не бежишь за мной, разве тебе наша игра надоела?

– Уходи прочь, ведьма болотная, я тебя узнал, не тронь меня, а то я тебя сейчас зарежу! – кричу я ей в страхе, а сам ножиком в воздухе машу.

– Ах так! – закричала вдруг Нюша пронзительно на весь лес и стала на моих глазах превращаться в страшную старую ведьму.

– Ах так! – громко заквакали человеческими голосами разом все лягушки на болоте.

– Ах так! – завопила вдруг ведьма громким и противным голосом, произнося с расстановкой каждое слово. – Тогда иди сюда, мой мальчик!

Руки ее сделались длинными и тонкими, как ветки березы, она крепко ими в меня вцепилась: в голову и плечи, застрявшие между деревьями, и в мои волосы. Я стал бешено махать ножом, обороняясь и ударяя по ее веткам-рукам, пытавшимся тащить меня к болоту. Они ломались от моих ударов, словно сухие сучья, только тут же откуда-то сразу появлялись другие. Но вот осталась лишь одна рука – самая толстая, державшая меня за волосы. Бить ножом я больше не мог от усталости, поэтому из последних сил осенил ее крестным знамением, как учили в церкви. Болотная Нюша громко и тонко завизжала, отпустила мои волосы и нырнула в глубь болота. Я упал на землю и потерял сознание. Сколько пролежал там, не знаю, но когда меня нашли наши мужики, то место на голове, за которое меня тащила Болотная Нюша, стало белым, как снег.

– Лиза, я боюсь! – захныкала Марийка и плотнее прижалась ко мне, крепко вцепившись своими маленькими кулачками в мою кофту.

Все сидели и молчали.

– А почему твоя мамка говорит, что ты таким родился, с седой прядью в волосах, – спросила я насмешливо, – а в обморок упал в лесу, испугавшись взлетевшего глухаря?

– Враки это всё! – пробормотал Федька и встал с земли.

Он смачно плюнул в костер и пошел в темноту в сторону своего дома. Огонь в костре затухал, никто в него веток не подкидывал. Все почувствовали, что уже поздно и надо расходиться по домам. Мы с Васей и Марийкой тоже пошли домой.

Может, рассказ о Болотной Нюше и был выдумкой, но мы его запомнили и в лес стали ходить с опаской.

Надо уезжать

Жизнь в Ракушине протекала однообразно. Отчетливо я это поняла, когда начала подрастать и перестала возиться дома с куклами и цыплятами во дворе. Я и все мои ровесники просто помирали от скуки в деревне, если не случались проводы в армию или свадьба. Но такое происходило у нас очень редко. Я росла, помогая маме зарабатывать трудодни на поле. Также у меня было много дел дома по хозяйству.

Трудодни – это когда за отработанный день на поле тебе в учетную книгу ставят палочку: значит, выполнил норму сегодня. Потом в конце сезона все палочки колхозников подсчитывают и полученный урожай распределяют в соответствии с твоими трудоднями. Когда мне стукнуло одиннадцать, в деревенской конторе маме сказали, что я давно уже должна была ходить в школу. Ближайшая находилась в соседней деревне, и идти до нее шесть километров. Ну что поделаться, я стала туда ходить.

В нашей деревне было несколько таких школьников, как я, и мы то шли туда и обратно целой гурьбой, то на нашей лошади ездили с кем-нибудь вдвоем, если она не нужна была маме для работы. А иногда я и одна в школу скакала. Я это страсть как любила! Вот уж тогда ветер вовсю шумел у меня в ушах от скорости! Платье на спине надувалось пузырем, а толстая коса развевалась по ветру и мягко хлопала меня на скаку по спине. Я ведь была ох какая боевая и умела хорошо ездить верхом...

Училась я четыре года, учеба мне давалась легко, особенно чтение. После четвертого класса было учиться не обязательно, и я школу бросила: надо было дома помогать матери, да еще в моем классе почти все были года на три меня младше. Ну что я с мелюзгой за партой сидеть буду, когда я выше их всех почти на голову?

А в деревне скукота, молодежи и подростков мало, клуба нет, вечерами делать нечего. Парни собираются и выпивают, а нам, девочкам, что делать? Семечки грызть и кости соседям мыть? Любовь меня еще не интересовала, хоть грудки к пятнадцати годам были уже заметного размера – тоже одна из причин, почему я перестала ходить в школу, вернее, не они сами, а то, что со мной случилось. Это произошло весной 1927 года.

Через три дома от нас жил Федька. Тот, что рассказывал о Болотной Нюше. Его, переростка, тоже заставляли в школу ходить, хоть он был даже старше меня на пару лет. Парень он был ленивый и чаще других просился со мной в школу проехаться верхом. Особенно в те дни, когда после дождя всю дорогу развезет и надо плестись, еле переставляя ноги от налипшей глины. Ну мне-то не жалко, пусть себе сидит за седлом сзади меня да смотрит, как я лихо коня погоняю. Только он сидел как-то странно, всю дорогу сильно прижимался ко мне, сопел, ерзал, а как-то раз во время скачки руками за мои груди схватился. Я возмутилась:

– Ты чего, сдурел, что ли? А ну-ка, слезай и иди прочь! И больше не просись со мной в школу ехать.

Федька извинялся, говорил, что это он так держался за меня, а то мы уж больно быстро скакали. Ну да, так я ему и поверила! Я его ссадила посреди дороги прямо в грязюку и усккала одна домой. А наши деревенские пацаны, известные насмешники, всю дорогу до дома дразнили его:

– Федь, а ты сам-то хоть успел «прискакать», пока за сиськи держался?

И смеялись потом. Ясно, что имели они в виду какие-то гадости, но я в мои четырнадцать лет еще о таком не знала. Вот тогда в школу и перестала ездить...

Мой брат Вася был старше меня на четыре года и, похоже, видел и понимал намного больше меня. Я родилась в царское время, но не помню ничего о революции или борьбе пролетариата. В нашей деревне было всегда спокойно. Вася же, бойкий с малолетства, всё время с чем-то боролся и очень хотел уехать в город. Он и уехал, как только ему исполнилось сем-

надцать и в правлении колхоза ему дали справку о возрасте. Сначала поехал в Ярославль, а потом оказался в Ленинграде. Уж какими судьбами, я теперь и не помню. Он стал работать на заводе, был активным и веселым и довольно быстро получил разнарядку учиться на рабфаке. Это такая школа для рабочих. Каждый раз, приезжая домой, меня звал тоже с ним уехать, но я всё отказывалась:

– Куда мне в город, дурехе деревенской, да и зачем? А кто будет здесь мамке помогать?

Хотя мне, если честно, хотелось из нашей дыры уехать в место побольше и повеселей. Но даже разговоры о таких больших городах, как Ленинград, меня пугали. Мы в это время с мамой обе работали в колхозе за трудодни и никогда не знали, что и когда получим за работу. Мне и хотелось уехать, и страшно было. Я никогда не бывала в таком большом городе, только в соседних деревнях да в одном селении побольше, Ефремово называется, где жила моя тетка с семьей. Мама пару раз меня еще девочкой брала в Углич торговать на пасхальную ярмарку. Хотя я уже упоминала об этом...

– Нет, не поеду, – говорю я Ваське, – даже не уговаривай!

Где-то через полгода или год после последнего разговора брат во время одного из своих приездов в деревню рассказал, что в семью старого профессора, преподающего ему на рабфаке, нужна скромная помощница по дому и что он рекомендовал меня. Там надо было стирать, убирать и готовить. У меня будет своя комната в их квартире и зарплата каждый месяц.

– Давай, Лизка, поехали, для тебя это верный шанс! Я уже о тебе с ним говорил!

Вася меня в этот раз прямо умолял, сулил, что профессорша подарит мне городское платье и что можно будет ходить на танцы, а там будут женихи. Мне было уже почти семнадцать лет, этот вопрос меня начинал интересовать, но я все равно отказалась, хотя, если сказать правду, очень хотелось, но страх пересиливал.

А тут случилась такая история: я шла в соседнее село помочь одной старушке сено закинуть на сеновал. Не бесплатно, конечно: стала бы я иначе тратить на это воскресенье! Дорога через лес, погода теплая, конец августа. У меня за спиной была котомка со всякой всячиной, да вилы на плече: со своим инструментом работать сподручней. Навстречу мне идут два взрослых бездельника из нашей деревни, «горе-солдаты», как мы их прозвали. Оба пьяные и веселые. Они, еще когда я была маленькой, вернулись с войны покалеченные. У одного глаза нет, а у другого трех пальцев на руке. Их сначала в деревне жалели, во всем им помогали, но они сами хотели не работать, а только сидеть у дома, курить и рассказывать о своих подвигах. Никому в деревне такое не нравилось, мужики говорили, что они, наверно, и воевали так же неохотно и плохо, как работают. Вот их и стали звать горе-солдатами. А они обиделись на всю деревню, считая, что их не понимают. Вот так и ходили всё время вдвоем, помогали в огородах, когда позовут, а заработанное пропивали. Они и сегодня были очень пьяными, особенно тот, что без глаза. Горе-солдаты стали здороваться со мной, а затем обниматься, вроде как в шутку. А перегаром от них несло на целый километр!

Вдруг понимаю, что дело шуткой не окончится и они задумали плохое. Один мне руки за спиной держит крепко, а другой щупает меня и пытается на землю повалить. А они мужики здоровые, не чета мне, малолетке!

– Эй, вы что, – кричу, – гадюки, обалдели от самогона? Вы это что себе надумали? А ну, отпустите, я же вашей соседки дочь!

– Будешь лежать смирно, тогда отпустим быстро, – говорит один, ухмыляясь криво, и ногой мои вилы подальше отшвыривает.

Я испугалась не на шутку, но и на насилие согласиться не могла. Как дала тому, что передо мной стоял, промеж ног, он и отпустил меня. А тот, что сзади держал, совсем пьяный был, и я легко вырвалась, но не побежала. Во мне какая-то ярость на них появилась и спокойствие одновременно. Я подняла мои вилы, наставила на них и говорю злым шепотом, смотря прямо в глаза то одному, то другому:

– С войны приехали, гер-рои? Повеселиться захотелось? Сейчас повеселитесь: я вас не только на всю деревню ославлю, но и червячки ваши поганые в мотне вот этими вилами проткну пару раз насквозь, чтоб не повадно было к девчатам приставать!

И иду на них с вилами наперевес, а они от меня пятятся, хоть и пьяные. А саму прям трясет от злости и мысли о том, что бы эти гады здесь, в глуши, могли со мной сделать. И ведь нет на них управы, одни старики и подростки остались в деревне...

Я об этом случае никому не стала говорить, а Ваське просто сказала, что передумала и согласна ехать с ним, попробовать, как живут люди в большом городе. Мама тоже была не против меня отпустить в Ленинград, ведь Марийка уже подросла и они могли справиться с хозяйством сами, без меня. И Вася всегда помогал нам деньгами со своей зарплаты да приезжал на посевную и уборочную на подмогу.

Вот так неожиданно я собралась уехать с братом из родных мест и уже фантазировала себе, как буду жить в Ленинграде. Но как из-за этого решения изменится моя дальнейшая судьба, какие удивительные события случатся со мной, я тогда не могла себе даже представить.

Ленинград

Была осень 1928 года, когда я приехала на поезде на Московский вокзал в Ленинграде с небольшим старым чемоданом, одетая очень скромно, совсем не по-городскому. Ведь как у нас в деревне? Что есть, то и надеваем, нам не до фасонов. Вокзал был большой, шумный. Поезда гудели, люди торопливо шли со своими чемоданами в разные стороны, кто куда. Носильщики покрикивали, толкая перед собой тележки, нагруженные багажом. Мне казалось, что я попала не на вокзал, а на какой-то большой рынок, даже голова закружилась от такого столпотворения. Вася встретил меня у поезда и на извозчике повез в центр города, на Подольскую улицу, где жил профессор Пётр Игнатьевич, к которому меня звали жить и работать.

Интересно было ехать и смотреть на высокие каменные дома, на реку, вдоль которой гуляли люди, на мосты со скульптурами и красивыми чугунными фонарями. Когда извозчик остановился на вымощенной булыжниками мостовой около кирпичного дома в несколько этажей и мы с Васей вошли в подъезд, мне показалось, что сердце сейчас выскочит из груди, так оно билось. Всё происходило как в тумане, даже не помню, поднимались ли мы на лифте или пешком. Помню только, как для смелости всё время твердила себе, что хозяйка подарит мне платье. Я хотела хоть чем-то добавить себе смелости. Так и шептала до самой двери квартиры: «Платье, платье, платье...»

Вася спросил меня:

– Лизка, чё ты там бормочешь? Молишься, что ли?

Я очень смутилась и просто что-то промычала ему в ответ.

На втором этаже брат, шедший впереди, вдруг остановился около высокой двустворчатой двери и стал крутить маленькую ручку посередине. За дверью раздалось дребезжание звонка и вскоре послышались мягкие шаги.

Она открылась, и мы увидели седого пожилого мужчину, с бородкой клинышком, в длинном, до пят, ярком плюшевом халате. У него на ногах были толстые мягкие тапки. Я подумала себе: «Настоящий профессор, только вот без очков».

Да, это был сам хозяин. Он сказал, обращаясь к нам слегка раздраженным низким голосом, почти басом:

– Ну уже заходите, Василий, не стойте в дверях, а то дует! – и закрыл за нами дверь, а сам торопливо пошел вглубь квартиры.

Мы стояли в просторной передней с высокими потолками и толстой ковровой дорожкой на полу, тянувшейся куда-то вглубь квартиры, куда ушел хозяин. Вася помог мне раздеться и повесить личную одежду, мы сняли обувь и замерли в нерешительности. Брат в доме профессора тоже оробел.

– Ну что же вы, проходите в кабинет! – послышался голос из какой-то комнаты.

Мы пошли по коридору на голос и скоро оказались в небольшом кабинете, посреди которого стоял массивный письменный стол темного дерева, заваленный бумагами. Из-под них виднелся в одном месте кусочек зеленого сукна, которым была обита крышка стола. На краю горела старинная настольная лампа с вычурно изогнутой металлической ножкой золотого цвета и зеленым стеклянным абажуром. Портьеры на высоком окне комнаты были плотно задернуты, царил полумрак, создававший вместе со светом лампы уютную атмосферу. Профессор сидел в широком кресле такого же цвета, как и стол, с ножками и подлокотниками в виде крупных львиных лап. Оно было наполовину развернуто в сторону двери, где стояли мы с Васей. В одной руке у профессора был хрустальный стакан с утренним чаем, другая спокойно лежала на подлокотнике.

– Нуте-с, давайте знакомиться. Как вас зовут, барышня? – спросил он, внимательно разглядывая меня сверху вниз, от макушки до самых чулок.

Казалось, от его цепкого взгляда не укрылось ничего: ни дешевые сережки, подаренные мне братом на пятнадцатилетие, ни скромное платье, ни мой обшарпанный чемоданчик, с которым я вошла в кабинет. Этот взгляд очень смутил меня и заставил покраснеть: я не привыкла, чтобы меня так пристально рассматривали.

– Лиза, – сказала я тихо и опустила глаза.

– Сколько же вам, Лиза, лет?

Я назвала свой возраст. Профессор продолжал задумчиво меня разглядывать.

В это время в комнату как-то очень тихо вошла и встала за моей спиной высокая женщина в темном платье с вышитым лифом. Я бы ее и не заметила, если бы не шелест платья и запах духов.

– Мария Константиновна, – обратился к ней профессор, – позвольте вам рекомендовать: это Лиза, она хочет у нас служить. Ее привел мой студент Духов, это его сестра.

– Очень приятно, – проговорила женщина и приветливо мне кивнула.

Мы с братом всю жизнь считались маленького роста, и профессор сначала показался мне высоким. Может, от страха, может, потому, что он был на самом деле выше нас, а может, свою роль также сыграли его длинный богатый халат и низкий голос. Но когда я увидела Марию Константиновну, довольно худую женщину с моноклем на золотой цепочке в одном глазу, с холеными руками, я поняла, что профессор не так высок, как мне показалось сначала.

Их вопросы и мои ответы слышались мне как в тумане или во сне. Я стояла ни жива ни мертва, теребя одной рукой подол платья. Мне было неловко под их изучающими взглядами, хотелось куда-нибудь спрятаться или убежать и вообще уехать отсюда, из этого чужого города, где всё мне непонятно. Уехать домой, туда, где было всё просто и знакомо. Туда, где я выросла и знала всех, а все знали меня. Но в то же время сквозь страх и смущение во мне прорастало другое чувство, шептавшее еле слышно, но упрямо: «Умру, но отсюда не уеду! Хочу быть здесь, в этой квартире, носить платье, как у хозяйки, и протирать от пыли вон ту зеленую лампу, освещающую комнату неярким приятным светом!»

Наконец расспросы закончились и барыня, как я стала называть жену профессора, повела меня показывать другие помещения квартиры. Вася остался в кабинете, он уже чувствовал себя здесь довольно непринужденно. Было видно, что он здесь бывал и раньше и что профессор ему рад. Нам и из других комнат был слышен их негромкий разговор и смех.

Мария Константиновна мне сразу понравилась, она отнеслась ко мне ласково и немного снисходительно. Когда я первый раз назвала ее барыней, она улыбнулась, но не возразила, только спросила, были ли у нас в деревне хозяева. Я пожала плечами:

– Я не знаю, вроде только агитаторы и председатель.

Она опять улыбнулась и ничего мне не ответила.

Квартира профессора была просторной, в четыре комнаты с длинным и довольно широким коридором. Одна из комнат была больше других, и там стоял красивый овальный стол и несколько стульев с резными спинками. На потолке висела роскошная люстра с хрустальными подвесками. Это была столовая, как мне объяснила хозяйка. За столовой находилась кухня – тоже просторная, с большой газовой плитой. Я такую раньше никогда не видела и даже не знала, что такие бывают. Обернувшись к барыне, сказала:

– Так а как же я буду с ней управляться? У нас дома только печь да керосинка.

– Ничего, я всему тебя научу, – ответила хозяйка успокаивающим тоном.

Для меня была отведена совсем маленькая комната возле кухни, скорее даже не комната, а чулан, где окошко было под самым потолком и уже стояли кровать, шкаф, простой деревянный стул и тумбочка с будильником. Я поставила свой чемоданчик с вещами, который до сих пор держала в руке, на стул, прежде чем мы пошли дальше. Больше всего меня удивила туалетная комната. Почти всю ее занимала большая белая, как из фарфора, ванна с изогнутым краном, душем из золотого металла и ручками для горячей и холодной воды по двум сторо-

нам. Всё это выглядело как дорогая посуда на картинках в журнале. Тут же стоял, несколько в стороне, сам туалет, про который я сразу и не поняла, что это такое и зачем. Всё в этом доме казалось странным, незнакомым и очень богатым.

По другой стороне коридора находилась хозяйская спальня. Это была совсем другая комната, не такая, как те, что я уже видела. Казалось, она полна воздуха и света. На окне легкий тюль, колыхающийся от приоткрытой двери на узкий балкон, на стенах две картины, а у кровати высокий торшер с абажуром, круглым и широким, как барабан. Во всем интерьере чувствовалась женская рука.

После спальни была еще одна дверь в просторную комнату с двумя окнами, длинным диваном вдоль стены, низким инкрустированным столиком с двумя, тоже низкими, креслами. У стены напротив, ближе к окну, стояло пианино. Крышка была поднята, белели клавиши, на подставке стояли открытые ноты и лежала плитка шоколада в цветной бумажной обертке. Небольшой кусочек был отломан или откушен с краю, и вокруг коричневого разлома в разорванной упаковке виднелась серебристо-желтая фольга и немного шоколадных крошек. Хозяйка называли эту комнату «салон». Наверное, мое описание неточное и неполное, но это то, что бросилось мне в глаза в первые минуты и запомнилось на долгие годы.

Как-то раз, уже несколько позже, я спросила хозяйку, как давно профессор живет в этой большой квартире. Она улыбнулась в ответ:

– Разве это большая? Вот при прежней власти у него была квартира на этой же улице, только в три раза больше, он там жил, и там же размещалась его частная школа черчения с занятиями на трех факультетах. Квартира была двухэтажная. А потом всё изменилось и нарушилось, школу пришлось закрыть, а от квартиры – отказаться.

Когда мы вернулись в кабинет, мужчины уже обговорили все практические вопросы моей работы и проживания здесь: мой заработок, различные стороны и правила моей жизни в этом доме. Когда я вошла к ним вслед за барыней, у меня, похоже, был такой растерянный и испуганный вид, что, посмотрев друг на друга, оба засмеялись и профессор сказал мне какие-то ободряющие слова. Я и вправду была растеряна: как запомнить всё то, что мне рассказала Мария Константиновна, как всё то, что мне предстоит делать, успевать сделать в срок и так, чтобы мои хозяева были довольны? Но я не решалась спросить и отложила это до завтра. Завтра же всё разрешилось само собой: хозяйка, оказывается, не собиралась сама просто бездельничать, пока я буду работать. Она тоже надела фартук и стала делать домашние дела со мной вместе, рассказывая во время работы, что где лежит, что за чем нужно делать и как что готовить на их кухне.

Так началась моя новая жизнь, а старая закончилась навсегда. Я этого тогда еще не понимала, а воспринимала всё происходящее как временную возможность пожить и поработать в городе. Думала, полгода-год – и я вернусь обратно в Ракушино. Фантазировала, как приеду туда с новыми платьями и городскими туфлями, заработав денег для мамы, чтобы мы наконец-то могли перекрыть крышу на нашем доме и починить забор. Но всё сложилось совсем иначе, чем я представляла себе в то время.

Профессор и барыня

Мой хозяин и его жена были совсем непохожими по характеру, как будто из разных миров. Он был требовательным, энергичным, всегда чем-то занятым и часто придирчивым по мелочам. Голос у профессора был низким и резковатым. Я его, честно говоря, побаивалась и старалась пореже попадаться на глаза. Хотя я всегда знала свое место, сам профессор не давал мне забыть, что я прислуга. Он мог строго отчитать даже за мелочь, но умел и пошутить, а бывало, что и угощал конфетами.

Пётр Игнатьевич внимательно относился к своей одежде, а вот в еде был совсем нетребовательным, даже, можно сказать, безразличным. Хозяин часто не обращал внимания на то, что у него на тарелке, просто ел то, что на ней лежит. И это было неудивительно – он всё время что-нибудь читал за едой: или книгу, или журнал, или газету. Одежды у него было много, но ничего яркого, кроме того домашнего халата, в котором я его увидела первый раз. Были френчи, похожие на военные, пиджаки, куртки, все хорошего качества и спокойных цветов. Он работал в Технологическом институте и считал, что именно так должен одеваться преподаватель.

Мария Константиновна была совсем другой. Мне даже казалось, что из высшего сословия: она грациозно двигалась, хорошо одевалась и никогда не повышала на меня голос. А если я что делала не так, то барыня вела меня в другую комнату для разговора и мягко, терпеливо объясняла, где я совершила ошибку. Но делала она это всегда одна, не при муже, поманив меня пальцем в салон, где стояло пианино. Она усаживала меня напротив себя на стул и, держа мои руки в своих, спокойно разговаривала и вроде как сама извинялась передо мной за мою же оплошность. Таким добрым не был со мной никто в жизни, даже мама.

Хозяйка сама всегда составляла меню и писала мне, что купить. Вкус у нее был идеальным во всём. Я ее обожала и если не была занята домашними делами или если Пётр Игнатьевич писал в своем кабинете и требовал тишины, то просто ходила за ней хвостом. Я слушала, как она музицирует или поет, смотрела, как она двигается или отдыхает, и тихо восхищалась тем, как она всё красиво и грациозно делает.

Мария Константиновна была дома почти всегда, если не ездила к подругам, а иногда к доктору или портнихе. Порой мы с ней вместе ходили покупать продукты, и я у нее многому училась. Она вела все расчеты в доме, всегда знала, что и когда надо купить, или заказать, или приготовить. Я даже иногда мечтала, что у меня когда-нибудь тоже будет своя семья и большая квартира. Появятся детки, а я, как Мария Константиновна, буду ходить в красивом платье и делать закупки для семьи. Красивые мечты, жалко, что они не сбылись!

Профессора хозяйка называла на французский манер Пьером, это он распоряжался расходами в доме и выдавал ей деньги на все домашние нужды. Она имела к мужу такой подход, что, даже находясь порою в раздраженном состоянии, он в конце концов всё же соглашался со всеми ее просьбами, давал требуемую сумму и целовал жену руку.

У меня в их доме не было определенного выходного дня, да мне и пойти или поехать было особенно некуда, только если вместе с Марией Константиновной – их дом был моим домом, и другого я не знала. Я даже не представляла себе, что может быть день, когда я просто бы ничего не делала. Правда, субботний ужин и воскресный завтрак барыня почти всегда готовила и подавала сама, а я наряжалась и шла в церковь на вечернюю службу в субботу и на воскресную литургию. Если же хозяева ехали на пикник или куда еще, то я могла одна погулять по улицам, сходить купить что-нибудь себе или гостинцы и подарки родным. Я была довольна таким распорядком, ведь знакомых у меня в городе не было, а сама заводить их я стеснялась и не умела. Правда, Вася приглашал меня пару раз пойти с ним и его друзьями на праздник, и меня отпускали. Но мне не очень понравилось: парни вели себя шумно, пили, курили, девушки как-то слишком нескромно были одеты и накрашены. Они визгливо смеялись. А на послед-

нем вечере, когда мы ходили с братом на чей-то день рождения, один стал приставать ко мне, выпив лишку. Он пытался закрыться со мной в комнате и хватал меня везде. Но получил такой отпор – я ведь в деревне выросла и рука у меня тяжелая, – что даже Васю на помощь звать не пришлось. С тех пор я больше к его рабфаковским не ходила.

Хочу еще признаться, что домашние вечера мне нравились больше. Мария Константиновна часто тогда играла на пианино, а профессор сидел в кресле в салоне с большой круглой рюмкой в руке, в которой на доньшке было немного коньяка, и слушал. Приглашали и меня, если я не была занята делами по дому. Хозяйка пела, а муж ей подпевал низким бархатным голосом. Как я любила такие вечера, разве их сравнишь с заводскими танцами или пьянками на днях рождения?

Хозяйка иногда занималась со мной чтением и письмом. Я, конечно, умела и читать, и писать, но Мария Константиновна считала, что я должна быть более грамотной. Это было трудно и нудно, но я старалась, понимая, что это может мне пригодиться в жизни. Перо всё время выскакивало у меня из пальцев, и я ставила кляксы, сильно потела от старания и смущения, что у меня плохо получалось. Барыня меня хвалила, а я понимала, что получаю одобрение незаслуженно, и от этого мне было еще более стыдно. Хозяйка, зная, что у меня с чтением трудности, покупала специально для меня за свои деньги журналы с картинками и подписями под ними: мне по ним было учиться читать легче, и я была ей за это благодарна.

Так шли дни, недели, месяцы, я привыкла к своей работе и своему новому дому и была счастлива.

Я долго не могла запомнить фамилию своих хозяев, а писать ее так и не научилась. Она вроде бы была еврейской, но Пётр Игнатьевич почему-то посещал лютеранскую церковь. Надо сказать, что делал это профессор нечасто, и я никогда не видела, чтобы он молился. Может, он ездил туда просто посмотреть на людей да свечку поставить? А вот барыня была верующей, посещала нашу православную церковь довольно часто на церковные праздники и порой по выходным дням. Причащалась пусть и не всегда, но регулярно. Бывало, мы даже ходили с ней вместе к причастию или на литургию.

Так сложилось, что у меня не было любимой церкви для молитв и исповеди. Ближайшим к нам был красивый и просторный собор Святой Живоначальной Троицы с высокими колоннами и голубыми куполами в золотых звездах. Местные пацаны собирались у его стен и ждали: может, какая звезда упадет? Я сама слышала их разговоры об этом. В таком большом храме меня смущало, что многие прихожане, даже богато одетые дамы, стоя в очереди к причастию, могли разговаривать друг с другом о пустяках или смеяться, а ведь это грех. Поэтому храмы поменьше, такие как церковь митрополита Петра или собор апостолов Петра и Павла, мне нравились больше. Туда ходили люди попроще, но, видимо, более набожные. Там я любила встать незаметно в темном уголке и думать или молиться, когда никто тебя не видит, кроме ангелов и самого Господа.

Мария Константиновна хорошо знала Писание и то, как и что надлежит делать в церкви по правилам. Намного лучше меня. Она даже могла подпевать хору, если хористов было мало-вато. Накануне, когда хозяйка собиралась идти со мной на литургию и причастие, мы как бы с ней объединялись: вместе готовили еду и постились, даже помолиться вместе могли вечером. Профессору эти наши «бубнежки», как он их называл, не нравились, и он ворчал сердито на нас, но не более того. Я любила ходить в церковь вдвоем с Марией Константиновной. При этом расстояние между мной и ею как хозяйкой будто сокращалось. Мы могли что-то обсуждать по дороге, а порой и немного шутить, и это мне льстило. Одно было не так, когда мы ходили в церковь вместе: я не столько молилась и слушала священника, сколько, стоя сзади на некотором отдалении, за ней наблюдала. Мне всё в ней нравилось и было интересно: как и когда она крестится и кланяется, как ставит свечи, как идет к причастию. Она всё делала не торопясь и с изяществом, а я прямо впитывала в себя каждое ее движение.

Однажды я стала свидетелем необычного причастия Марии Константиновны. Накануне вечером хозяин получил письмо из Москвы. Знаю потому, что это была моя обязанность – собирать приходящие письма, класть их на маленький поднос и подавать профессору. Он тогда поправлялся после сильной простуды, но был еще болен, и, видимо, немощь, сидящая внутри, делала его более раздражительным, чем обычно. В тот раз он открыл мне дверь и, стоя на пороге, взял не весь поднос, а лишь тот единственный конверт, что лежал на нем, и, взглянув на адрес, бросил обратно, сказав коротко и зло:

– В печь!

Ну в печь так в печь. Я пошла на кухню выполнять его волю. А там барыня увидела письмо, узнала от меня о происшедшем и говорит мне мягко:

– Нет, Лиза, подожди, дай его мне.

И пошла в кабинет, закрыв за собой дверь.

Сначала слышался только нервный рокот профессора и голос хозяйки:

– О Пьер, ты не можешь! Я тебя умоляю, не делай так, это не по-христиански!

Я не то чтобы подслушивала, просто они говорили всё громче и громче. В конце барыня даже заплакала, со словами: «Вы с Софьей друг друга стоите!» – вышла на кухню и, не глядя на меня, кинула так и не распечатанное послание в огонь.

Я поняла из этого разговора, что у профессора есть единственный сын, с которым он не общается. Тот живет в Москве, и письмо, как сказала барыня, «в кои веки раз», было от него. В чем там дело, почему они поссорились, мне было непонятно, но Мария Константиновна долго сидела в гостиной, читала Евангелие и вздыхала, а профессор лег спать на диване в кабинете. Кто такая Софья, я знала из их разговоров – это бывшая жена профессора, с которой они расстались много лет назад, и она не ценила Петра Игнатьевича, как он того заслуживал. Мне было жалко барыню.

И вот на следующий день мы пошли в церковь, как договаривались. У барыни было настроение грустное, но ведь таким оно и должно быть, когда готовишься к исповеди и вспоминаешь о своих грехах перед причастием. Я даже и не связала тогда это со вчерашним ее разговором с мужем.

Церковь была небольшая, народу немного. Чтец за аналоем негромко читал молитвы перед началом службы, и эхо уносило его голос к куполу, к лику Спасителя, изображенному там, в самой вышине. Царил таинственный полумрак, лишь горели свечи. Их огоньки одновременно колебались, как крылья огненных бабочек, когда кто-нибудь тихо проходил мимо. Прихожане, подойдя сначала к центральной иконе, перекрестившись и поцеловав ее, не спеша и бесшумно выстраивались в очередь на исповедь. И на исповеди говорили тихо, стоя в отдалении, спиной к остальным и боком к священнику.

Когда подошла очередь Марии Константиновны, она, низко наклонившись к столику перед священником, где лежали крест и Библия, стала как-то необычно быстро и эмоционально говорить. Вдруг плечи ее задержались, речь начала прерываться сначала всхлипываниями, а потом и просто рыданиями. Слышны были слова, которые она повторила особенно громко несколько раз: «Я так больше не могу!» – и снова слезы.

Очередь заволновалась, люди стали перешептываться. Батюшка успокаивал Марию Константиновну как мог, что-то говоря своим ровным негромким голосом, да она и сама скоро взяла себя в руки и успокоилась. Затем, поцеловав ему руку, вышла из храма, вытирая маленьким кружевным платком заплаканные глаза. В этот день мы и службу не достояли, и не причастились. Вместо этого пошли в парк неподалеку, гуляли, ели мороженое, кормили уток и много молчали. Я смотрела на нее, печальную, украдкой и всё вспоминала вздрагивающие от плача плечи, звуки голоса, в котором слышалось страдание. Она мне в эти минуты казалась такой беззащитной и хрупкой, а ее шея, белевшая из-под накинутого на голову темного платка, – такой тонкой и бледной, что сердце сжималось в груди и мне самой хотелось плакать.

Такие события в нашей семье случались очень редко, в основном всё было тихо и мирно. Каждый занимался своим делом.

Пётр Игнатьевич преподавал какое-то черчение моему Васе и другим студентам в «Техноложке», как он называл свой институт, и еще писал учебники по математике. Он был очень умный человек, писатель, я очень его уважала и немного побаивалась его низкого раскатистого голоса. К нему иногда в гости приходили люди, о которых Вася говорил, что все они очень известные, но я не запоминала, кто есть кто. Вроде бы какие-то ученые и издатели. Бог их разберет. Иногда он приглашал к себе своих студентов. Те, сидя в столовой на краешке стула за чашкой чая с печеньем, вели себя скромно, даже не клали локти на стол, накрытый крахмальной белой скатертью, разговаривали тихо и уважительно и не смеялись громко, как прочие гости.

Барин вставал рано, делал зарядку у открытого окна, умывался и сразу надевал свой любимый теплый и яркий халат. Он мог не снимать его до самого ужина. Профессор практически целый день, когда не был на работе, проводил в своем кабинете. Туда через некоторое время, после звонка в колокольчик, я подавала завтрак на подносе. Выходил Пётр Игнатьевич оттуда обычно, когда Мария Константиновна, постучав в дверь, приглашала к столу обедать или ужинать. Но порою он и сам среди дня неожиданно появлялся в дверях кабинета, чтобы выйти с ней на небольшую прогулку в парк неподалеку от дома или просто выпить чаю из любимого хрустального стакана в серебряном подстаканнике. Они тогда оба садились в глубокие кресла в салоне у окна и неспешно разговаривали. Он сам что-нибудь рассказывал жене о своей жизни или о книге, которую писал. А бывало, что просто листал газету, прихлебывая остывающий чай и комментируя иронично ту или иную статью вслух.

Дом на Подольской улице

Только когда профессора не было дома, я могла сделать настоящую уборку в его комнате, протереть пыль на шкафах и всех предметах, которых в кабинете было немало. Я могла залезть под стол, стоя на коленях, всё там вытереть и промыть, что в его присутствии никогда бы не стала делать, он ведь любил подшутить надо мной и обязательно бы меня за что-нибудь схватил или ушибнул. Была у него такая слабость.

Одна вещь в кабинете у Петра Игнатьевича вызывала мой особенный интерес – это его настольная лампа. Я ее заприметила в первый же день, как пришла в этот дом. Лампа привлекала мой взор своей необычной формой и мягким зеленым светом, в который погружалась вся комната благодаря цветному стеклянному абажуру. Я полюбила ее протирать и делала это не торопясь, с чувством, рассматривая каждый раз раз все ее детали. Проводила тряпкой по изогнутой бронзовой ножке с орнаментом на тяжелом металлическом основании, поднималась рукой к изумрудно-зеленому стеклянному колпаку с металлическими винтами по обеим сторонам. Я натирала все бронзовые части, чтоб они блестели как золотые, потом то зажигала, то гасила лампу, проверяя, работает ли, и, довольная результатом своего труда, принималась дальше протирать пыль на полках. Мария Константиновна не раз спрашивала меня в шутку:

– Лиза, что ты всё время трешь лампу Пьера? Смотри, дырку протрешь!

А мне это незамысловатое занятие и эта старинная красивая лампа давали успокоение, отвлекая от прочих дел, и мои мысли улетали далеко-далеко, к изумрудным лесам и золотым полям моего детства.

В нашей квартире была еще одна удивительная вещь – это большой лакированный телефон, висевший на стене в прихожей. Сам корпус был коричневого дерева, размером с небольшим шкафчик, с одной стороны имелась металлическая ручка, которую надо было крутить до и после разговора, а с другой, на витом толстом проводе, – большая черная трубка, которую надо держать у уха и в нее же говорить. Сверху были два, размером с блюдце, медных электрических звонка, которые сильно дребезжали, пугая меня, когда кто-то звонил. Я его называла «бёсова машина», а профессор смеялся и говорил, что напишет об этом какому-то шведу Эрикссону, который его изобрел, с просьбой, чтобы для меня прислали другой, с мычанием коровы или хрюканьем свиньи. Со временем я научилась даже отвечать в трубку, когда кто-нибудь звонил профессору, но всё равно протирала аппарат от пыли с некоторой опаской: вдруг сейчас зазвонит и опять напугает меня.

Мария Константиновна не ходила на работу, была всё время дома, но не сидела без дела, хоть я была при ней и всё, что нужно, делала по хозяйству. Она очень любила свою квартиру, содержала ее в порядке и сама составляла меню к столу. Хотя я это уже говорила...

Барыня много музицировала на пианино в салоне, разучивая новые мелодии. К ней дважды в неделю приходили девочки-школьницы на занятия музыкой. Одна постарше, но какая-то вся воздушная. Она приходила сама с нотами в изящной сумочке, от нее всегда исходил запах легких, словно весенних, духов. Другую, помладше, приводила служанка. Мы с ней сразу понравились друг другу, сидели пили чай и тихо разговаривали, пока шел урок. Она тоже была из деревни, но значительно старше меня, служила в своей семье давно, но жаловалась на хозяев, что недобрые, людей не любят и всех осуждают. А я? Что я могла ей сказать, когда была всем довольна и очень уважала своих, а барыню еще и немного жалела?

Как-то раз весной я помогала Марии Константиновне перебирать в шкафах зимние вещи. Всё, что убиралось до следующего холодного сезона, мы упаковывали в холщовые чехлы от моли и вешали в дальний шкаф. Кое-что из одежды, то, что, как она считала, устарело или не очень ей подходит, хозяйка отбрасывала в сторону, но перед этим поворачивалась ко мне и спрашивала: «Хочешь?»

И я хотела всё. Что-то себе, что-то родным в деревню. В этот раз она протянула мне серую цигейковую шубку, которую уже не собиралась носить. У меня такой красивой и теплой одежды никогда не было. Я ее, конечно, взяла, глаза наполнились слезами от благодарности, и я убежала в свою комнату, чтобы не показывать барыне, как я растрогана. Разложив свое новое меховое сокровище у себя на кровати, а сама сев на пол, я стала гладить курчавый мех рукой, а потом прижалась к нему щекой и затихла, погрузившись в свои мысли.

О чем я думала? Конечно, о доме. Мне всё здесь, в Ленинграде и в квартире профессора, нравилось, я попала сюда как будто в волшебный незнакомый мир. Но в то же время он был совсем реальным – здесь всему можно было научиться и получить такие вещи, о которых раньше и не мечталось. Но я всё же очень скучала по своей деревне и родным. Часто, закончив дела и уже лежа в кровати, я думала: как там моя мама? Представляла, как она спит, устав после рабочего дня и положив свои натруженные руки поверх старенького одеяла. Как Марийка? Тоже спит? С моим отъездом на ее долю выпала двойная нагрузка по дому...

Я уже не плакала, а просто сидела на полу у кровати, положив голову на шубку и перебирая мех одной рукой.

И тут я вспомнила, как в детстве мы с сестренкой выходили встречать стадо, когда пастух гнал наших коров и овец с пастбища. Это было невозможно пропустить, так как коровы громко мычали, качая наполненным молоком выменем, овцы блеяли, а пастух лихо щелкал своим длинным кнутом над их головами, покрикивая и подгоняя их неторопливый шаг. Из пыльного тумана от копыт сначала появлялись овцы, шедшие впереди кудрявым облаком, а за ними уже коровы, и каждая хозяйка стояла у ворот или калитки и звала свою скотинку по имени.

Мы с Марийкой ждали овец, стоя прямо посреди дороги, расставив руки, а стадо проходило, блея, мимо, обтекая нас плотно, как потоки реки, лаская и щекоча наши тела своими меховыми нежными боками. Мы погружали руки в их мягкую и теплую шерсть и могли так стоять, пока все стадо не пройдет. Вот такую память о нашем с сестрой детстве разбудила во мне цигейковая шубка, лежавшая на моей постели, сама как серая овечка из детских воспоминаний.

Мария Константиновна часто сидела в кресле одна с карандашом в руке и читала рукописи профессора. Я так понимаю, она поправляла что-то в его записях. У него был очень мелкий и непонятный почерк, и хозяйка тогда снимала свой монокль и надевала на нос пенсне, тоже золотое, на золоченом же шнурке. Хозяин иногда бурно обсуждал ее правки, но всегда потом извинялся и, соглашаясь, делал, как она советовала.

Еще Пётр Игнатьевич любил всё техническое. У него в кабинете было много разных приборов и каких-то крупных деталей. В углу стояла специальная доска для черчения на высокой ноге, и он иногда там что-то рисовал. У нас на кухне была радиоточка, и он постоянно приносил разные новые радиоприемники и подсоединял к ней, а после звал жену и меня посмотреть на новинку. Он хотел, чтобы мы пользовались радио, но не любил современные песни и голоса дикторов, читающих новости, всегда их передразнивал. А мне нравились, особенно утром, бодрые молодые голоса, приглашавшие на зарядку, и наши песни – «Нас утро встречает прохладой» и «Подмосковные вечера». Профессор, услышав, просил выключить «большевицкую агитку», как он называл это всё. Видимо, втайне хозяин не любил нашу власть, и я переживала, как бы не вышло из-за этого чего-нибудь плохого.

Дом у нас был действительно как дореволюционный: профессор в дорогом халате, хозяйка в красивом платье и пенсне, пианино, большая люстра в столовой, картины на стенах, ковры и столовое серебро. Так в то время жили немногие. А мне, приехавшей из далеких от столичного богатства мест, и подавно всё казалось дворцом или музеем.

Я начала служить у них осенью. И вот незаметно прошла зима и наступила весна, первая моя весна в Ленинграде. Хотя такой же была и вторая, и третья: снег почти везде растаял, только на набережной у оград, куда его сгребали всю зиму, еще лежал подтаявшими

грязными кучами. Из-под них по тротуарам прозрачными извилистыми змейками текла талая вода. Откуда-то опять появились и начали свои любовные трели птицы, а в воздухе «летали сердечки», как говорила Марийка. Сейчас, когда прошло так много лет с тех пор, мне трудно вспомнить, что было в первую, а что во вторую весну, да это и не важно. Важно, что за зимой наступила весна и душа радовалась ее приходу. Мне кажется, что люди не вспоминают события своей жизни по порядку, часто на память приходят отдельные кусочки, как отрывки из фильма. Вот и я такая же, даже не всегда помню, когда и что случилось.

И вот еще что важно в моем рассказе: я ведь в нем не главная героиня, хоть кажется, что пишу о себе. Я просто стараюсь, как лампой, а может, даже и прожектором, осветить окружавшую меня в прошедшие годы жизнь и тех людей, которые были важной ее частью. Без них всё было бы совсем по-другому. Мой рассказ, конечно, субъективен, но в этом нет ничего плохого, ведь это я, Лиза, так видела и запомнила события, ведь и я сама, со своими мыслями и взглядами, была их частью.

Я не привыкла так много рассуждать, но еще одну вещь все-таки хочу вам сказать: за прошедшие годы многое изменилось как в моих взглядах, так и в том, как я живу и думаю. Я даже читаю и пишу сейчас совсем не так, как раньше, и интересы стали совсем другие. Но я пытаюсь передать, как думала и что чувствовала именно тогда, с тем, прошлым моим опытом и прошлыми взглядами.

Щегол

Итак, весна, первая моя весна в Ленинграде. Она запомнилась мне особо, так как в деревне мы встречали ее по-другому, копанием грядок на огороде и работами в поле перед посевной. А в Ленинграде весной мы любили просто гулять по набережным, когда уже было не так холодно и профессор мог составить нам с хозяйкой компанию, не боясь простудиться. Часто мы шли мимо Технологического института к гранитной ограде Фонтанки и порой доходили до Покровского острова. Этот маршрут Пётр Игнатьевич особенно любил. А иногда ему хотелось идти в другую сторону, и мы отправлялись к Обводному каналу в сторону Лиговки, затем вдоль воды, но до Невы не доходили, больно далеко было идти.

Одно происшествие в ту первую весну я запомнила особо и даже помню дату. На третьей неделе Великого поста, в пятницу после обеда, кто-то позвонил в дверь. Я открыла и увидела мужика лет пятидесяти, одетого не по-городскому. Подумала, что это опять какой-то попрошайка, и, сказав, что здесь живут приличные люди, а ему нечего тут делать, стала пытаться закрыть дверь. Но он не давал мне это сделать и просил позвать профессора. На шум вышла хозяйка.

– А, это ты, Игнат, заходи. Лиза, пропусти его, это птицелов, он приходит к нам каждый год весной, – сказала она, повернувшись ко мне. – Пьер, иди сюда, к тебе Игнат пришел! – позвала она мужа.

Вышел профессор, а тот, кого называли Игнатом, уже стоял в передней, держа в одной руке большую клетку для птиц, накрытую серым платком.

– Нуте-с, проходи в кухню. Давненько тебя не было, показывай, – сказал ему хозяин с нескрываемым интересом, – что ты нам принес.

Ну, думаю, сейчас сапожищами натопчет, а я только пол помыла. Но мужик ловко, без помощи рук, вылез из своих сапог и пошел в кухню за профессором в одних портянках. Когда он поставил клетку на стол и снял покрывало, я увидела в ней несколько маленьких птиц. Я всех знала: и чижа, и чечетку, и моего любимого щегла, трели которого в лесу мне особенно нравились. Я к клетке буквально прилипла и смотрела во все глаза на эту лесную пернатую мелкоту, особенно на щегла, весеннего щёголя. Черная шапочка, белые щеки, красная кайма вокруг острого клювика и на лбу и вдобавок черно-желто-белые крылья. Просто загляденье!

– А что мы будем делать с птицами? – спросила я, когда птицелов ушел.

– Как что? Выпустим в воскресенье! Разве вы так дома не делаете на Благовещение? Оно уже по совдеповскому календарю в это воскресенье, седьмого апреля, – ответил профессор.

– Нет, не делаем. А нашто птиц ловить, а потом выпускать? Нечем больше заняться, что ли?

– Ну ты и дремучая, Лизавета! – воскликнул профессор и засмеялся своим низким голосом.

Тут вмешалась Мария Константиновна и сказала примирительно:

– Давайте-ка пить чай, и я всё Лизе сама расскажу. Всё равно вы, лютеране, всё не так понимаете, как мы, православные.

К чаю на столе был сахар и постные пироги с капустой. Все-таки еще Великий пост. Профессор наморщил нос:

– Дайте хоть рюмку сливовой, а то совсем замучили своим постом!

– Нельзя и для здоровья не полезно. Настанет воскресенье, и можно будет есть рыбу и выпить вина, а до этого нет и нет! – хозяйка говорила шутливо, но в голосе чувствовалась твердость. – Лизочка, в праздник Благовещения христиане выпускают на волю лесных птиц. Считается, что если ты это сделал, то твоя птичка летит к самому престолу Господню и несет

туда с собой в благодарность за освобождение твою самую сокровенную молитву. Мы и тебе дадим птичку. Какую ты хочешь?

– Щегла! – выпалила я не задумываясь.

– Хорошо, будет тебе щегол.

Клетку с птичками я поставила на эти дни у балкона в салоне, где было больше солнца, налила воды в блюдце и насыпала пшена.

– Ешьте, пейте, дорогие посланники Божия, а я пока над молитвой подумаю.

В воскресенье мы с хозяйкой сходили в церковь, причастились Преждеосвященных Даров, послушали проповедь, где, кстати, говорилось о выпускании птиц, и к обеду вернулись домой к профессору. Он уже нас ждал, сидя в пальто возле клетки у открытой настежь двери балкона. Когда настала моя очередь выпускать птицу, я взяла маленького испуганного щегла в свои ладони, но так, чтоб не сдавить крепко и не выпустить слишком рано. Я смотрела на него, чувствовала рукой, как его сердечко бешено колотится, а коготки впились в мой мизинец. Я его зачем-то понюхала, он пах курочкой. И в тот миг забыла всё, что себе напридумывала: Ленинград, платья, женихов... А помнила только маму, дай Бог ей здоровья, нашу корову, квохтанье кур, пахнувших так же, как этот щегол, и брата с сестрой. Я открыла свои руки, щегол полетел высоко в небо, к облакам и солнцу, и скоро я уже его перестала видеть. Видимо, полетел прямо к Богу. Щеки мои были мокрыми от слез, и я даже не видела, как профессор и хозяйка выпускали своих птиц.

Отпуск

Однажды барыня позвала меня в салон для разговора. Позвала как-то очень официально. Я испугалась: «Не дай бог выгонят!» Даже слезы подступили.

Мы с ней сели в салоне как обычно, когда я что-нибудь сделала не так, а я всё теребила в руках то платок, то подол своего фартука от волнения. Она стала спрашивать, как мне у них живется и работается, какие планы на лето, не нужно ли мне съездить домой и помочь родным. Это меня еще больше взволновало. Сердце заколотилось, как у курицы, когда ее поймаешь, чтоб забить, слезы уже просто сами потекли из глаз.

– Что такое, почему слезы? – спросила барыня.

Тут я не удержалась и расплакалась:

– Матушка Мария Константиновна, простите Христа ради, не выгоняйте меня, я всё исправлю, в чем провинилась! – и упала перед ней на колени.

– Что ты, что ты, глупая! Встань немедленно и вытри слезы, никто тебя не выгоняет. Что ты, в самом деле, себе придумала? – с улыбкой говорила барыня, поднимая меня с пола за плечи.

Но я никак не могла остановить плач, даже стала подвывать. На шум вышел профессор, и они вдвоем подняли меня с пола и посадили обратно в кресло. Он не ругался, а улыбался и качал головой, что меня пугало еще сильнее, и я, вроде слегка перед этим успокоившись, завывала в полный голос. Тогда он прикрикнул на меня строго:

– А ну-ка, прекрати! Сейчас же вытри слезы! Слушай, что я тебе скажу!

И этот окрик как-то сразу успокоил меня. Профессор продолжил:

– Ты же с осени работаешь у нас, и мы очень тобой довольны. Но ты же не знаешь все наши распорядки в году. А я каждый год в августе живу один месяц в доме отдыха для писателей и ученых. Он находится под Ленинградом в поселке Ермоловка по Приморской железной дороге. Я живу там в одной и той же комнате весь август уже много лет, а Мария Константиновна остается в квартире в Ленинграде одна, и ей прислуга на этот месяц не нужна. Вот мы и подумали предложить тебе на это время отпуск, чтобы ты могла съездить и навестить своих родных. Билеты туда и обратно мы тебе купим. Что ты об этом думаешь?

Ничего я об этом не думала, я только поняла, что меня не увольняют, и улыбалась сквозь слезы и всхлипы, тыльной стороной руки вытирая мокрые щеки и нос, пока хозяйка не протянула мне платок.

– Ладно, – сказала она, – потом поговорим, пошли пить чай!

Мы пошли в столовую все троем, даже профессор отложил свои бумаги. Они мне всё объяснили еще раз, и мы сидели, смеялись надо мной, глупой, и пили чай с пряниками.

Первого августа должен был начаться мой первый отпуск, и этот день становился всё ближе. Я с нетерпением его ждала. Целый месяц дома! Когда об этом думала, у меня прямо сосало под ложечкой, так хотелось обнять маму и сестру, которых не видела почти год! Еще хотелось пройтись, вся такая городская, по нашей единственной в деревне улице. Хозяин и хозяйка с улыбкой смотрели на мои приготовления: как я собирала вещи к поездке, как считала дни до отъезда. Какие они все-таки были хорошие и добрые ко мне люди! Вася тоже едет со мной, но не на месяц, как я, а на неделю. Он за прошедшее время уже дважды съездил в Ракушино помочь матери. Последний раз на посевную, без него они бы не справились. А вот теперь поедет и со мной на недельку.

Я давно уже подкапливала кое-какие подарки своим родным. Мне заработанные деньги тратить не хотелось, и я исхитрялась по-другому. То барыне разонравился веер, и она его хочет выбросить. Благодарствуем, он поедет в подарок сестренке. То у нее кружевные перчатки зацепились за гвоздь и порвались – так она их вон! Благодарствуем! Я их так заштопала, что они

как новенькие стали. Опять сестренке подарок. И всего такого набралось много, целый чемодан. Я и себя не забывала. Все платья и блузки, да и еще кое-что из белья, то, что барыне нравилось или не подходило, – всё сразу перекачало в мой гардероб. У меня была и шляпка, и помада, и даже начатые французские духи. А всё, что мне доставалось мужское, я Васильку то подштопаю, то перешью. Ему получалась и экономия, и подарок от сестры.

Как-то раз вечером, когда я уже закончила работу по дому и была в своей комнате, в дверь постучался профессор и отдал очень приличный чемодан, немного больше того, что у меня был. Мой-то старый, обшарпанный, а этот хоть и не новый, но красивый, лакированный, с двумя замками, внутри обит шелком, а в крышке с внутренней стороны был большой карман на кожаных застежках. Одна беда: ручка из него была вырвана аж с мясом! Я, конечно же, его взяла, а Вася на работе починил ручку.

Ну вот и всё, теперь я была полностью готова к поездке на родину, осталось только дожидаться заветного дня и сесть в поезд на Ярославль.

И вот он настал, тот день. У подъезда меня уже ждала коляска с кучером. Наш дворник стоял и разговаривал с ним. Когда я появилась, он снял свой картуз и слегка поклонился. Потом спросил:

– Лизка, это ты, что ли? Вот нарядилась! Я ж тебя за какую-то важную даму принял, думаю, кто такая?

И немудрено было ошибиться! Я вышла в длинном летнем платье и светлых перчатках. На согнутой руке висел легкий плащ, этой же рукой я держала зонтик от солнца, а в другой была сумка. Сзади Вася тащил мой тяжелый чемодан. Мои светло-коричневые башмачки цокали по тротуару новыми набойками на каблуках. Правда, хозяева, когда я показалась им перед выходом, переглянулись, и профессор проговорил с улыбкой:

– Ну, Лизавета, все парни и в деревне, и на вокзале будут у твоих ног!

А Мария Константиновна добавила:

– Доброго пути! Береги себя, Лиза.

Вася был налегке, с небольшой котомкой за спиной и с сумкой еды для нас в дорогу. Мы ехали не в общем, а в плацкартном вагоне, это я настояла: боялась всяких проходимцев, которых много в поездах. У меня было нижнее место, у брата верхнее, напротив нас ехала семья – муж и жена средних лет со своим сыном, видимо гимназистом. Они тоже ехали в нашу сторону и тоже в отпуск. Брат болтал без умолку, смешал и меня, и соседей по вагону. Я больше молчала, смотря задумчиво в окно и думая, что еду к себе в деревню, к родным, по которым соскучилась, а мысли мои в Ленинграде, где я уже очень привыкла и куда меня даже сейчас, по дороге домой, тянет. Я чувствую, что моя жизнь уже там, что для дома и семьи в Ракушине я навсегда потеряна.

Очнувшись от своих мыслей, когда брат разговорился с попутчиком, который был, видимо, очень умным. Он рассказывал о прочитанном в газетной статье, что в Италии появились какие-то фашисты. Я так и не поняла, кто они и какое нам до них дело. Сын-гимназист тоже участвовал в разговоре, он рассказывал, что китайцы захватили часть нашей земли и наше правительство послало их правительству ноту, и еще о том, что объявлено какое-то «социалистическое соревнование» на заводах. Это было Васе очень интересно. Время в разговорах пролетело быстро, и мы распрощались с ними уже как друзья.

Эта первая поездка в отпуск мне запомнилась больше всего. Когда мы наконец сошли с поезда на родной станции в Угличе, я от радости дышала полной грудью, смотрела вокруг как будто новыми глазами. Здесь было всё родное: и звуки, и лица, и запахи, и нелегкий крестьянский быт. Я за этот год выросла и еще больше оформилась как девушка. На наше счастье, мой Василий, которого знали все в округе, приметил и окликнул земляка из нашей деревни, который подвозил своих родных к поезду и собирался как раз ехать обратно. Они оба обрадовались этой встрече: нам не пришлось никого нанимать, чтобы добраться до дома,

а соседу было веселей ехать с попутчиками, слушать ленинградские новости и расспрашивать про столичное житье-бытье. Мы выехали почти сразу, правда, сначала напоили лошадь и дали ей немного овса, заранее припасенного в телеге. Вася принес две охапки свежего сена нам под спины, чтобы удобней было ехать, и мы отправились в дорогу. Я полулежала на ароматном сене. Сразу вспомнилось детство и сеновал, наши игры в сене под крышей хлева, мычание коровы Зорьки и громкое квохтанье курицы, снесшей свежее яичко. Я и не заметила, как задремала под разговор Васи и соседа, сидевших спереди.

Я проснулась, когда телегу особенно сильно подбросило на ухабистой дороге, и, поднявшись на локте, оглянулась. Мы всё еще ехали через лес. Дорога в Ракушино, которая была обычно такой тягучей и тряской, в этот раз показалась более привлекательной. Я легла на спину и стала смотреть вверх. По лазурному небу, между верхушками зеленых деревьев, всё время убегавших назад и качавшихся в такт движущейся телеге, плыли небольшие пушистые облака. Своими легкими движениями они создавали ощущение того, что я и сама лечу, подобно им. Повернув голову в сторону, я увидела лес с тенями и бликами от высоко стоящего солнца. Чувствовалось, что день знойный, но мне жарко не было, так как ели обступали дорогу плотно с обеих сторон, словно сберегая для нас прохладу.

Мама с сестрой были бесконечно рады нашему приезду, особенно мне. Они и плакали, и смеялись, и обнимали меня всё время. Сестренка расспрашивала про городскую жизнь и хозяев просто без остановки. Я еще не успевала ответить на один вопрос, как она задавала два других. Вечером после ужина Вася пошел к друзьям, а мы забрались все вместе в постель к маме и лежали обнявшись, секретничая и смеясь.

Я помогала везде: и в огороде, и в хлеву. Видимо, и душа, и руки соскучились по сельской работе, но спина к вечеру ныла от непривычки, и я всегда засыпала первой от усталости, обняв потрепанного плюшевого мишку, игрушку моего детства, которую для меня сберегла мама.

В выходной день мы с братом пошли на танцы в соседнее село, надев наши городские наряды. Мы там были в этот вечер самыми популярными. Меня наперебой приглашали танцевать, а вокруг Васи девчата так и крутились, так и крутились. Местные парни даже хотели его поколотить из ревности, чтоб не отбивал их невест. Но мой Вася крепкий, с ним так легко не справиться. Да он к тому же успокоил их, сказав, что у него в Ленинграде есть своя невеста, городская.

Мама, конечно, хотела, чтобы я осталась в Ракушине с ними навсегда, нашла себе здесь парня, вышла замуж, нарожала ей внуков. Она выпытывала, понравился ли мне кто, и заглядывала при этом прямо в глаза. Я понимала, что ее надежды напрасны, но не хотела ее огорчать раньше времени и поэтому больше отшучивалась. Меня в деревне вообще-то любили. Я была скромная, трудолюбивая и вся в веснушках. Да и полдеревни были мне родней. Мы вечерами с мамой ходили побалакать и попить чаю то к одним родичам или соседям, то к другим. И для всех у меня были какие-нибудь маленькие городские подарки. У нас в деревне люди простые, и угодить им несложно.

Иногда и к нам приходили гости, но это выглядело больше как смотрины, и мне такое совсем не нравилось.

Я бы никогда не подумала, что целый месяц может пролететь так быстро! Провожать меня к нашему дому пришла почти вся деревня. Пришел и гармонист Петя с инструментом, а сосед Палыч запряг лошадь в новую телегу да положил на дно свежего сена. Подружки сделали всем нам веночки из ромашек и колокольчиков и даже заплели ленты в гриву лошади. Всем было и весело, и немного грустно. Мы, молодежь, пели песни и даже танцевали, мама угощала всех во дворе домашней вишневой наливкой и пирогами с яблоками. Потом вся компания отправилась меня провожать за околицу. Шли с песнями и частушками, ушли далеко за деревню. День был жаркий, из-под каблуков летела пыль, когда притопывали в такт частушкам. Вот одна из них:

Васька Духов – балабол,
А сестра – красавица!
Загляну к ней под подол,
Думаю, понравится!

Это спел один мой сосед и друг детства. Вот ведь дурной! А сам-то, когда разговаривает со мной, всегда краснеет и заикается...

Мы всё шли и шли за телегой. Гармонист играл, сидя на заднем ее краю. Девушки кружились в своих разноцветных сарафанах, а парни выбивали на пыльной дороге чечетку в такт задорной мелодии, соревнуясь друг с другом. Мама шла за нами, концом нарядного платка, накинутого на плечи, вытирая мокрые глаза, а нам было весело и немного печально, как на проводах в армию.

Снова на Подольской

Как я была рада вернуться в уже полюбившийся мне Ленинград и в ставшую почти родной квартиру профессора на Подольской улице! Дверной звонок, при первом моем визите сюда показавшийся неприятно дребезжащим, теперь для меня прозвучал долгожданной музыкой. Так как хозяйева сами брали мне билеты на поезд, Мария Константиновна точно знала, когда я приеду, и уже ждала меня дома. Мы обнялись и обе расчувствовались до слез. Я обошла всю квартиру. Всё здесь теперь было мне так знакомо и приятно. Конечно, я не забыла зайти и в кабинет профессора (он же был в доме отдыха писателей, как вы помните) и погладить запылившуюся за месяц мою любимую зеленую лампу. Я пощелкала ее выключателем, и этот звук как бы сказал мне, что всё хорошо, всё в порядке и на своем месте.

В этот день хозяйством мы не занимались, а устроили банный день. Мы мылись по очереди в ванной с каким-то душистым мылом, потом долго расчесывали друг другу волосы, мазались кремами. От всех этих процедур к вечеру даже устали. Немного перекусив и отдохнув, милая Мария Константиновна помогла мне разобрать чемодан и все вещи положить и повесить в шкаф. Она была рада моим подаркам – незамысловатым, но от души. Вечером за столом на кухне, под уютным круглым абажуром, мы с ней пили чай со сладкой наливочкой и пирогами, которые хозяйка сама испекла к моему приезду.

Мы сидели долго, разговаривали и пели песни: видимо, наливочка расслабила нас и сделала более открытыми в общении. Я осмелилась спросить барыню, отчего у них с профессором нет детей. Она, по своему обыкновению, улыбнулась сначала, а потом ответила:

– Ты же уже не маленькая и знаешь, что женщина не может рожать всю свою жизнь. Мы с Пьером встретились, когда я эту возможность уже утратила. А до него сначала казалось, что еще всё успею, что семья – это сейчас не главное. Я больше училась и занималась музыкой, а не ходила на свидания. Была порою увлечена кем-то, но, видимо, время еще не настало, и мои платонические романы были как романсы, сыгранные на пианино, – трогательными, легкими, но короткими, – она замолчала на секунду, подлила нам вина и продолжила задумчиво: – Потом я наконец встретила человека, которого полюбила, но ошиблась и вместо счастливой жизни получила глубокую рану в душе и недоверие к мужчинам на долгие годы. Потом, в семнадцатом году, всё изменилось, были страшные, непоправимые потери как в семье, так и во всей стране. Я их переживала одинаково тяжело. Потом встретила Пьера и как-то по-женски прониклась к нему, полюбила всем сердцем. Он честный и умный, в нем многое не так, как хотелось бы, но и эти черты мне милы. И когда я сама себя спрашиваю, почему именно он из всех тех, кому я нравилась, получил мою душу и мою любовь, то я знаю ответ: он страдал не меньше, чем я, но его душа не очерствела. Он живой, он порядочный и он меня искренне любит.

Мы обе вздохнули и только в этот момент поняли, что засиделись допоздна и пора идти спать. Мария Константиновна поцеловала меня в лоб на прощанье, как ребенка. Нам обоим было очень хорошо в этот вечер, и этот день запомнился мне как один из самых счастливых в моей жизни.

На следующее утро всё было по-другому. Мы устроили генеральную уборку в квартире. После чудесного вчерашнего отдыха у нас для этого были и силы и желание. Мы мыли всё, что только возможно, выбивали ковры, начищали всё металлическое: медные ручки дверей, самовар, серебряные ножи и вилки, даже бронзовую лампу и медные части звонка на телефоне в прихожей. Нам хотелось, чтоб всё блестело к приезду профессора. В завершение мы испекли большой пирог и сварили суп к его завтрашнему возвращению.

Пётр Игнатьевич появился ближе к полудню, загорелый и отдохнувший. Светлый льняной костюм и шляпа очень подходили к его солидной седой бороде. Он был весел и остроумен,

делился с нами за столом планами насчет новой книги и пугал, что на отдыхе нашел для меня жениха из писателей. Я смущалась и краснела от его слов, а барыня хлопала в ладоши и, веселясь, требовала подробностей.

– Тот готов жениться хоть сегодня на такой пышке и хозяйке, как Лиза, – продолжал Пётр Игнатьевич рассказывать, обращаясь к жене, словно меня и не было за столом. – Правда, есть одна проблема: он немного старше меня, лет так на пять-семь.

Все смеялись, а я смущалась и краснела еще больше и не знала, что сказать, хоть и понимала, что он шутит.

Через несколько дней начались занятия в Технологическом институте, к барыне стали опять приходиться ученицы, и жизнь вошла в свой привычный ритм.

Так проходили недели и месяцы, наступила зима, принесшая неприятное и тревожное событие: профессор сильно простудился и слег. Сперва он кашлял, сердился на нас с барыней, когда мы ему предлагали лекарства или лечь в постель. Когда же ему стало совсем плохо, то он сам позвонил какому-то знакомому врачу и перешел на постельный режим надолго. Хозяйка говорила мне раньше, что нет ничего хуже больных мужчин. Они капризны, мнительны и требовательны. Так и было. Больной профессор раздражался по малейшему поводу, всё ему было не так и невкусно. А как он жаловался на то, что всё болит и его никто не любит! Его просто нельзя было узнать. Он пробыл на постельном режиме целых два месяца, после чего врач разрешил понемногу выходить на улицу. Потом и работать разрешил, но тоже понемногу. Хозяйка говорила, что преподавание в «Техноложке» ему уменьшили до четырех часов в неделю. Он хорохорился и утверждал, что может работать больше, но нам всем было очевидно, что он прилично сдал за время болезни.

Ученики навещали его часто в течение всей болезни. Это было приятно и ему самому, и нам, его домочадцам, так как он веселел от этого и становился на некоторое время не таким нытиком и ругателем. Врач, посещавший его регулярно, волновался за его здоровье, так как пневмония, случившаяся зимой, уже к весне спровоцировала у Петра Игнатьевича обострение стенокардии. Я этого слова не знала и спросила Васю. Он сказал, что эта болезнь по-народному называется «грудная жаба», человеку становится плохо с сердцем, он задыхается и может умереть. Я сразу представила себе темно-зеленую жабу размером со шляпу профессора. В моем воображении она была большая, очень неприятная, слизистая, усевшаяся всем своим весом прямо на грудь, прямо туда, где у него сердце. Она давит ему на грудь и горло, а он задыхается и зовет на помощь, но никто не приходит. Мне даже приснилось что-то подобное. Я очень переживала за здоровье Петра Игнатьевича, но гнала от себя плохие мысли, чтоб они не материализовались.

Хочу рассказать кое-что еще о профессоре. Когда я начала у него служить, такие проблемы со здоровьем уже и ранее случались, и ишемическая болезнь была диагностирована за несколько лет до этого. А за два года до меня зима была очень холодной, и произошла ситуация, подобная нынешней: он простудился и долго болел. Институт дал профессору отпуск по болезни на два месяца, и они с хозяйкой ездили в Крым, отдыхали и для укрепления здоровья пили там целебные воды. В начале 1928 года Пётр Игнатьевич ушел на пенсию, но остался преподавать черчение в институте по несколько часов в неделю. На работе его ценили и относились с большим уважением к его педагогическому и научному опыту. Он написал, кажется, четырнадцать разных учебников...

Мария Константиновна серьезно отнеслась к болезни мужа, опекала его, составила специальный рацион питания, стала каждый день с ним гулять в парке поблизости от дома. Она подарила Петру Игнатьевичу палку с бронзовым набалдашником в виде головы орла. Подарок пришелся по душе, и муж опирался на нее на прогулках. Они любили гулять вдвоем. К Новому году профессор совсем поправился, и они стали гулять чаще.

Порой память сохраняет то, что и не надо бы запоминать, что к тебе не относится, а вот всё равно помнится. Как-то раз Пётр Игнатьевич с женой сидели в кухне, обедали, кажется, а может, просто кофе пили, я точно не припомню, а я мыла окно. День был хороший, конец весны или начало лета. Наверно, это был май, тогда все моют окна. Всего разговора хозяев я не слышала, а прислушиваться стала, только когда профессор заговорил громче, с чувством:

– Нет, сударыня Мария Константиновна, вы со своими аристократическими корнями даже понять этого не можете, не только прочувствовать! А беретесь судить. А у меня этот вопрос вот где сидит с самого детства. – И профессор крепко похлопал себя несколько раз ладонью по загривку. – Есть разные мнения, но верно только то единственное, исходящее от людей, которые сами испытали это на себе. И даже не спорьте! Кто любит евреев или, наоборот, ненавидит их, но сам таковым не был в своей жизни, скорее всего, имеет какие-то другие причины к этому своему мнению, не связанные с их собственным происхождением...

– Но Пьер, – возразила несмело барыня, – мы же знаем людей с еврейским происхождением, которые стали известными врачами, политиками и даже писателями. Что далеко ходить, вот ты издал столько книг с твоей еврейской фамилией...

– Ну, дорогая моя Маша, это удар ниже пояса – приводить в дискуссии со мной в пример меня самого! Но хорошо, я тебе отвечу и отвечу искренне. Мне мое происхождение всю жизнь эту самую жизнь портило! Порой я даже горевал, что родился в еврейской семье. Нет-нет, я не испытал на себе погромов или других ужасов, которые пережили иные мои соплеменники, но, вероятно, на генетическом или на каком-то другом уровне каждый еврей знает, что когда-нибудь это может коснуться или его, или его детей.

Профессор выглядел очень взволнованным. Мария Константиновна, сидевшая напротив, взяла его руку в свою и сказала как-то несмело и просительно:

– Пьер, дорогой, прости, я не хотела трогать эту тему, просто так получилось. Давай потом, в другой раз.

Но его, видимо, уже захватило, и он не мог остановиться:

– Да что ты вообще знаешь о моей жизни? Я родился в нищем Бердичеве, и даже это неправда! Моя мама потеряла предыдущего ребенка, рожая его в Бердичеве, где мы жили, и поэтому меня ездили рожать в губернский Житомир, где условия были лучше. И в училище я поступил раввинское, а не в то, куда мне надо было бы. А почему? Потому что папа еврей! И всю жизнь из всех путей, открытых моим сверстникам, мне годились лишь те, что вписывались в мою национальную принадлежность. Да, меня не били, не угнетали лично, но всегда на широкой дороге выбора жизненного пути была узкая темная труба для нас, евреев, по которой нам приходилось ползти к свету и успеху. Я преувеличиваю насчет трубы, но это для того, чтоб ты поняла, как нам это чувствовалось.

Фамилия моя, ты верно подметила, еврейская, но она похожа на немецкую. И я интуитивно с детских лет старался впитывать в себя всё немецкое: язык, технику, даже религию сменил потом на лютеранство. Я всю жизнь хотел быть кем угодно, но не евреем! И вот так из Перца Исааковича стал я Петром Игнатьевичем. Стыдно мне было? И да и нет. Я стыдился моих ортодоксальных родителей, когда они приезжали навестить меня в Санкт-Петербург, где я учился, ведь все видели, что они скромные местечковые евреи. А со мной дружил князь Оболенский, то есть в простом, обывательском понимании Пётр Межеричер ну никак не мог быть евреем, он скорее немец. Ну да, как же мы сразу-то не догадались?! Немец, да, конечно, немец!.. И мне было стыдно, что я стыдился своих корней. Мне было горько и стыдно!

Но это одна сторона, а ведь была и другая – суровая реальность борьбы за свое место в этом мире. Евреи всегда здесь побеждали, как бы их ни притесняли. А почему притесняют и до сих пор, ты не задумывалась? У власти сидят совсем не дураки, и они понимают, что если евреям дать полную свободу выбора, то в скором времени у целых народов останется очень мало шансов написать, открыть или сыграть хоть что-то гениальное. Вот они с помощью погро-

мов, черт оседлости и других мер и стараются хотя бы сравнять шансы всех многочисленных народов мира с моим народом, у которого нет даже своей страны. Есть только Бог, да и тот распятый...

Пётр Игнатьевич вздохнул, встал и пошел в свой кабинет работать дальше. Барыня осталась за столом и сидела, задумчиво глядя сквозь окно, которое я уже успела домыть. А я... Что я? Мое дело – кухня да тряпки, да и про евреев я мало что понимала.

Последний год в Ленинграде

Это было время, богатое событиями, очень важными для меня.

Летом 1930 года Вася окончил рабфак, но поступать в Технологический институт не спешил, взвешивал все за и против. Дело в том, что у него был товарищ, который после рабфака уехал и уже год как работал в Москве на заводе. И он уже несколько месяцев сманивал Васю туда. Он говорил, что того и без института, с одним оконченным рабфаком, возьмут мастером в цех, так как он и чертить, и читать чертежи умеет хорошо. А здесь, в институте, надо еще учиться и учиться, и неизвестно, какой будет результат. В Москве зарплату хорошую обещали, говорили, что и комнату дадут. Последнее, видимо, было решающим аргументом, так как брат до сих пор еще жил в общежитии в комнате с двумя соседями. Их кровати стояли по стенкам комнаты, к нему или его соседям всё время кто-нибудь приходил, было шумно. В таких условиях ты никак личную жизнь не устроишь, нет ни своего свободного угла, ни времени.

Я его отговаривала уезжать, даже плакала, но он все-таки уехал.

Писал Вася мне редко. А я очень по нему скучала: по его шумным посещениям нашего дома, по прогулкам вдвоем по красивым набережным Ленинграда, даже по его глупым шуткам. Как он там один, без меня? Но с другой стороны если поглядеть, то и я уехала из родной деревни, никого, кроме него, не слушая, и живу здесь, в городе, одна уже третий год. Может, мы, Духовы, такие, руководим своей жизнью сами и не боимся переездов?

Профессор был сердит на Василия за то, что тот не захотел поступать учиться дальше. Он говорил, что у брата были хорошие способности, но тот их не ценил. Об этом хозяин мне рассказывал, когда выходил на небольшие перерывы из своего кабинета и мы пили чай или морс.

У него было сразу несколько рукописей в работе. Профессор уже несколько лет не писал новых учебников, но так как и на изданные книги спрос был хороший, то часто вставал вопрос о переиздании то одной, то другой. Мария Константиновна говорила, что он к каждому следующему изданию писал новое вступление и всегда что-то добавлял или исправлял в самом учебнике. Некоторые его книги переиздавались по пять или шесть раз. Вот и теперь он подготавливал шестой выпуск учебника по механике.

А тут еще надвигалось большое событие: в середине января профессору исполнялось семьдесят пять лет. Из-за болезни мы об этом просто забыли, а теперь, перед праздниками, вспомнили. Он, уставший от постельного режима, одиночества и тишины, настаивал на торжестве, говорил, что два раза семьдесят пять в одной жизни не бывает. По метрике он вроде родился в 1858 году, а значит, семьдесят пять ему будет через два года. И хозяйка пыталась ему аккуратно об этом напомнить. Но Пётр Игнатьевич утверждал с жаром, что это была ошибка при переписывании бумаги, которую он сначала не заметил, а когда понял, что запись неправильная, уже неохота и муторно было заниматься всей этой бюрократией.

– И потом, – добавлял он, – два года – большой срок в моем возрасте, и в таком климате, как в Ленинграде, немногие доживают до этого юбилея.

К слову будет сказано, Технологический институт и сам планировал чествовать его в ближайшем январе. Профессор уже пару лет как был на пенсии, но всё еще продолжал преподавать. Пётр Игнатьевич, поступая на работу, указал правильный год своего рождения, 1856-й. Ну, раз так, то решили, что праздник будет.

Все приготовления легли на наши с Марией Константиновной плечи. Я-то что: купи, сготовь, подай и убери. А на нее свалилось много забот: список гостей, приглашения, меню, закупки, оформление квартиры к юбилею, ну и, конечно, финансовый вопрос. Хорошо, что незадолго до этого профессору прислали гонорар за переиздание одного из учебников. Какого именно, я не знаю, но барыня говорила, что это получилось очень кстати. Профессору даже

купили новый костюм к юбилею. Он хорошо в нем смотрелся: в белой накрахмаленной рубашке и с памятной медалью к 100-летию Технологического института на лацкане.

Я в списке гостей не разбиралась, знаю, что моего Васю, который часто бывал у нас, хозяин приглашать не захотел, всё еще обиженный на него за переезд в Москву. Но одно имя я узнала – Орест Данилович. Он тоже еврей, Хвольсон его фамилия. Он иногда приходил к профессору в гости на чай или выпить по рюмочке чего покрепче и поговорить о физике, которую оба хорошо знали и любили.

Как-то раз после его визита Мария Константиновна решила рассказать историю их дружбы, а профессор добавлял к ее рассказу подробности.

Если я верно помню, было это в 1900 году. Тогда Пётр Игнатьевич жил в Одессе, был женат на своей Софье, и у них уже родился сын. И вот его вдруг посылают на какую-то международную выставку в Париж, столицу Франции. Это было и событие, и награда для него, простого учителя, бывшего на хорошем счету у городского начальства. Его, конечно, интересовало там всё техническое, а выставка была большая, всю за один день не обойдешь. Там они с Орестом и повстречались. Примерно одного возраста, оба занимались техническими науками. Хвольсон жил в Ленинграде, или как тогда наш город назывался, а Пётр Игнатьевич собирался туда переезжать и уже договаривался в типографии о печати своего учебника. Оресту Даниловичу на выставке даже медаль какую-то вручили. Французскую. В общем, он был и немного постарше, и поважнее, чем мой хозяин, но они подружились. Кстати, он тоже писал учебники, и, как хозяин добавил тогда к рассказу своей жены, они днем ходили по выставке и слушали доклады, а вечером, придя домой усталые и полные впечатлений, до поздней ночи за бутылкой французского вина делились друг с другом историями из жизни и спорили о своих работах. Оказалось, что они оба учились в Германии, только Орест раньше, так как был старше моего хозяина.

Пётр Игнатьевич на следующий год и сам переехал в город на Неве, где продолжал встречаться с Хвольсоном. Тот работал над учебником по физике в нескольких томах, и профессору было очень интересно, когда Орест показывал ему написанное и советовался. Вот так они и дружили, писали свои книги, и, кстати, это Хвольсон порекомендовал Петру Игнатьевичу отдать сына учиться в немецкую гимназию Карла Мая, которую сам окончил и очень хвалил.

Орест Данилович был приглашен на юбилей и пришел, хоть сам был уже очень старым и больным...

Итак, наступила середина января 1931 года. Хозяева решили устроить фуршет – это когда гости, приглашенные на банкет, свободно приходят и уходят в течение дня. При этом все едят, стоя с тарелками в руках. Еда лежит на столах в общих блюдах, а напитки стоят в открытых бутылках на обоих краях стола. Рядом с едой и бутылками – бокалы и тарелки стопками, в корзинках ровными рядами – столовые приборы и белые салфетки. Подходи, наливай и накладывай сам что и сколько хочешь. По-другому никак не получалось: слишком много было заявлено желающих прийти и поздравить Петра Игнатьевича.

В помощь нам хозяйка наняла на вечер двух официанток, которые ходили среди гостей и меняли на столах пустые блюда и бутылки на полные. Я же распоряжалась на кухне: доставала еду из холодильника, резала хлеб и мыла посуду. Работа у меня просто кипела весь вечер до полуночи, и у плиты было невероятно жарко. Я приоткрывала окно, но ведь середина января, и на улице мороз. Мне страшно было простудиться от сквозняка, ведь можно от этого было получить воспаление легких. Поэтому я иногда выходила остыть в зал, заодно посмотреть на гостей и послушать заздравные тосты. Наняли еще швейцара, чтоб встречал гостей в форменном пальто и фуражке. Это был солидный пожилой мужчина, отставной полковник, он помогал гостям снять верхнюю одежду и вешал ее на временные вешалки, установленные в прихожей и даже на лестничной площадке у дверей квартиры. Мария Константиновна встречала гостей, провожала в комнаты и знакомила друг с другом.

Пришел декан рабфака профессор Бирзович, потом заведующий библиотекой института профессор Овсянников, а также профессор Холмогоров, хорошо знавший хозяина по совместной работе. Ближе к концу праздника пришел и Орест Хвольсон. Казалось, что вокруг были одни профессора.

В столовой большой стол сдвинули к стене, накрыли красивой скатертью до пола и поставили на нем еду и вино. В середине комнаты разместили несколько небольших круглых столов на высоких ножках, за которыми три или четыре гостя могли и есть, и общаться. Это сделали для того, чтобы было больше места. Все стулья перенесли в салон и поставили у стен по периметру. Здесь были спиртные напитки, сигары и кофе с пирожными. Только в этой комнате разрешалось курить, и поэтому дверь на балкон оставалась постоянно полуоткрыта. Играл граммофон, было оживленно, и Пётр Игнатьевич находился почти весь вечер именно здесь. Много пили за его здоровье, приносили и дарили подарки, которые тут же рассматривали, и довольный хозяин уносил их к себе в кабинет. В кабинете обосновались дамы: в других комнатах было слишком шумно. Они сидели или полулежали, кто где устроился, обменивались новостями и при этом пили шампанское, которого было много во всех комнатах, и закусывали фруктами и шоколадом.

Казалось, что общему веселью и поздравлениям не будет конца, но ближе к полуночи все разошлись, и мы остались с хозяевами и нанятой прислугой мыть и убирать за нашими гостями. Вся квартира пропахла сигарным дымом, и было холодно от открытого балкона. Профессор в одной рубашке с закатанными рукавами, слегка во хмелю, громко шутил и расплачивался с работниками. Мария Константиновна безуспешно пыталась надеть на него пиджак, но он, разгоряченный, отказывался. Она его просила:

– Пьер, пожалуйста, оденься, ведь ты можешь простыть. Вспомни, что тебе говорил врач, ты же не так давно болел!

Мы разошлись по своим спальням уже после двух часов ночи, но всё, что было нужно, помыли и убрали. Даже столы, что брали напрокат, уже были упакованы и стояли внизу в подъезде в ожидании грузчиков и транспорта.

Следующее утро оказалось тревожным: у профессора поднялась температура, стал хриплым голос и появился сильный кашель. Барыня, переживая за мужа, сама позвонила врачу. Тот приехал очень быстро, послушал больного, назначил ему строгий постельный режим, выписал лекарства и всё сокрушенно качал головой:

– Ну как же вы так неосмотрительно себя ведете, батенька?

Видно, положение оказалось серьезным, так как на Марии Константиновне просто лица не было и доктор первую неделю приезжал по два раза в день. Хозяину не становилось лучше, на третий день он потерял сознание и приезжала скорая помощь из ближайшей больницы, куда сразу же позвонила обеспокоенная жена. Слава богу, в больнице нашего профессора привели в сознание и подлечили чем-то, но врач назначил капельницы, и мы пригласили по его настоянию медицинскую сестру-сиделку.

Прошло два месяца, а Пётр Игнатьевич всё лежал в постели, вставая лишь по нужде да к столу. Он был очень слаб, врач никого к нему не пускал, ни студентов, ни коллег. Доктор ругался на особенно докучливых:

– Время инфекций, можете грипп или какую другую заразу принести, приходите, когда он выздоровеет!

Я плакала, представляя, чем эта его болезнь может закончиться, ходила в церковь, молилась за него, ставила свечи, заказывала молебен «за выздоровление». Мария Константиновна полностью посвятила себя больному мужу, очень похудела, стала беспокойной и грустной. Когда сиделка отдыхала, то барыня старалась быть у постели мужа, порой сидела там часами, смотря на него. Я приносила ей туда чаю и чего-нибудь поесть и иногда подсаживалась сама и пыталась разговорами полупшепотом отвлечь ее от грустных мыслей.

Я спрашивала ее:

– А где профессор учился, что он такой умный? Его батюшка тоже профессор?

И Мария Константиновна рассказала мне за два вечера удивительную историю его жизни. Оказывается, Пётр Игнатьевич на самом деле родился не здесь, а в небольшом украинском городе в небогатой еврейской семье. У его отца была мастерская, где чинились часы и прочие механизмы. Отсюда любовь к механике, которую он преподавал моему брату Василию. Затем по этой же специальности хозяин учился в Киеве и в Германии. Поэтому он хорошо говорит по-немецки и любит точность. Затем он учился в том же институте, где сейчас преподает, и после этого начал писать книги и работать учителем. Но не просто учителем: он почти всегда был или директором, или заведующим курсами, но всегда при этом также и преподавал. А до революции у него была своя школа черчения в Петрограде.

Личная жизнь у него вроде сначала тоже складывалась неплохо. Он женился по любви на еврейской девушке из хорошей семьи, у них родился сын, который впоследствии учился в гимназии Карла Мая здесь, на Васильевском острове. Но потом супруги начали ссориться, пришлось развестись, и его бывшая жена уехала в Москву к брату и сына увезла с собой. Как так получилось, что отец перестал общаться с сыном, а сын прекратил общение со своим отцом, барыня не знала. То ли бывшая жена строила преграды их встречам, то ли сам не хотел беречь свою ноющую рану, да и жили они далеко друг от друга. Сейчас сын уже взрослый, изредка пришлет письмо, да отец эти письма даже не всегда читает...

– Так вот и живем вдвоем, без детей и внуков. Может, это нас с ним и сблизило, – закончила свой рассказ Мария Константиновна.

В середине марта болезнь вроде начала отступать, и врач прописал Петру Игнатьевичу понемногу бывать на свежем воздухе. Профессор был так слаб, что не было даже речи о том, чтоб ему выйти из дома. Мы с Марией Константиновной под руки выводили его в теплой одежде на балкон, он там сидел минут пять-десять – и обратно в постель. И так два-три раза в день. Хозяйка уже давно перешла спать в кабинет, чтобы не мешать больному, сделалась забывчивой, порой никак не могла собраться с мыслями от усталости и волнения за мужа. В доме стало уныло, ничто не радовало. Мы обе ждали выздоровления Петра Игнатьевича как спасения.

Но спасение не пришло. Двенадцатого апреля, когда хозяйка утром вошла в комнату профессора, он не дышал и даже был уже холодным. Как мы с ней рыдали – это не передать словами! Горе просто затопляло все другие чувства в нас, мы были до хрипоты, до того, что наши слезы кончились, а мы всё плакали уже сухими глазами. Казалось, что и наша жизнь ушла навсегда вместе с ним. Я и до сих пор вспоминаю это время с печалью, крещусь на икону и желаю Петру Игнатьевичу вечного покоя в раю у ног Господа нашего, а Марии Константиновне – здоровья и всех Божеских благ на земле.

На поминки на девятый день приехал сын профессора из Москвы. Мы похоронили Петра Игнатьевича на Новодевичьем кладбище в самом центре Ленинграда, у Московского проспекта. Сыну поздно сообщили, и он не успел на похороны.

Его звали Леонид, как друга Петра Игнатьевича, который много ему помогал в молодости. Это мне рассказала Мария Константиновна. Леонид был совсем другой, вообще внешне не походил на отца. Гладко выбритый, без бороды и усов, высокий, лицо в очках умное и интеллигентное. Говорил он мало, хотя мы все в эти дни общались только по необходимости. Я так поняла, что он приезжал и в связи с похоронами, и по своим делам тоже. Мария Константиновна разговаривала с ним в кабинете на второй день. Дверь была открыта, и я всё слышала. Она рассказывала, что больших накоплений у профессора никогда не было, она сама тоже работала, давала частные уроки, чтобы можно было нормально жить. То немного, что было, ушло на похороны.

– Книги, что написал ваш отец, и его личные вещи можете взять, они здесь, в кабинете. Квартира эта съемная, от нее придется отказаться, дачи у нас нет. Все-таки жаль, что вы с отцом не нашли общего языка при его жизни. Теперь уже этого не поправишь, – подытожила она, вставая с кресла и оставляя Леонида одного в комнате.

Хозяйка попросила меня проводить Леонида Петровича на кладбище и показать могилу. Мы ехали на трамвае, и я всё рассматривала сына своего усопшего хозяина. Он был довольно молод, лет тридцати – тридцати пяти, то есть всего лет на десять с небольшим старше меня, но в нем чувствовалась уверенность начальника или командира. Лицо гладкое, с крупным носом, на носу пенсне, не такое, как у Марии Константиновны, попроще, но и не совсем простецкое. Он весь как бы тоже профессорского сословия или масти, но совсем другой, не такой, как его отец.

Сын постоял у могилы отца минут десять, поправил спутанные ветром ленты на венках с живыми цветами, которые уже начали подсыхать без воды. Он был задумчив, немного печален, но не плакал, как мы с хозяйкой. Леонид наклонился, взял из одного венка цветок, видимо на память, ничего мне не сказал и пошел мимо меня обратно, прямо к трамваю. Я двинулась за ним, вытирая подступившие к глазам слезы. Пошли, Боже, моему Петру Игнатьевичу блаженное упоение!

Леонид Петрович был молчаливым, но, судя по всему, не бесчувственным. По его просьбе мы еще раз съездили на могилу, и он там сидел долго на каком-то ящике и думал, низко опустив голову.

Он задержался еще на несколько дней: оформлял какие-то справки в связи со смертью отца. Мария Константиновна была благодарна ему за это. Когда мы ужинали или пили чай вместе, то сидели молча. Мне было это странно: почему он ничего не спросит о своем отце? Каким он останется у него в памяти?

Однажды вечером хозяйка позвала меня в кабинет, где в любимом кресле профессора уже сидел Леонид Петрович. Я почувствовала, что предстоит какой-то разговор. Она начала с того, что со смертью мужа многое изменилось в ее жизни и ей приходится подстраиваться под сегодняшние обстоятельства. Она, скорее всего, не сможет жить в такой большой и дорогой квартире и будет вынуждена искать подешевле, а мебель продаст. У меня уже глаза были полны слез от нехорошего предчувствия, когда она сказала, что и прислугу содержать и оплачивать уже не сможет. А это значит, что нам надо будет расстаться. И у меня, и у нее из глаз потекли слезы: мы ведь в эти последние трагические дни думали о многом, но мысль о том, что мы можем и должны расстаться, даже не приходила никому из нас в голову. Я спросила тихо:

– Матушка Мария Константиновна, а куда же мне тогда идти? Я ведь назад, в деревню, ехать не хочу. Совсем не хочу!

Тут Леонид Петрович, сидевший до этого тихо и только наблюдавший за нами, подал голос:

– Вот для того, Лиза, мы все здесь и сидим, чтобы обсудить этот вопрос. Мария Константиновна охарактеризовала тебя как покладистую и умелую помощницу по дому. Я как раз ищу себе в семью такую девушку, и ты бы мне подошла. Но это в Москве. Что ты об этом думаешь?

У меня всё поплыло в голове, я не могла переварить это сразу: то я оказываюсь без жилья и зарплаты, прощаюсь с любимой хозяйкой, то меня зовут служить в семью в Москву. Я сидела в растерянности. Он, видимо, по-другому истолковал мое молчание и продолжил:

– Можешь не волноваться, зарплату я тебе оставляю ту же и отпуск тоже сохраняю. Мы живем с женой и двумя детьми. Мы с женой работаем много, сын учится в школе, а вот дочка Люся болеет, у нее эпилепсия, и нужен присмотр. Ей четыре года.

Я всё еще молчала, пытаюсь осознать сказанное, а Леонид Петрович продолжил:

– Если ты согласишься, то уже завтра или послезавтра мы сядем на поезд и поедем. Билеты оплачу. Ты познакомишься с моей семьей, попробуешь пожить у нас, а если не приживешься, то я куплю тебе билет домой и посажу на поезд.

Я перевела взгляд на барыню, и та мне улыбнулась глазами, полными слез, ободряюще.

– Я думаю, что это хороший вариант для тебя, Лиза. Где ты сейчас найдешь работу или службу? А тут, по крайней мере, мы знаем, что ты попадешь в приличную семью и с приличной оплатой. Да и брат твой Василий, кажется, тоже в Москве? – грустно добавила она.

А я даже об этом не подумала! Вся ситуация сразу стала выглядеть не такой пугающей, раз мой старший брат будет рядом. Но тут слезы опять полились из моих глаз:

– Матушка, а как же вы? Совсем одинешенька? Даже не с кем будет поплакать или обняться в своем горе?

Мария Константиновна опять чуть не заплакала вместе со мной, но поднесла платок к глазам и сказала растроганно:

– Какое же у тебя доброе сердце, моя девочка, как мне не хочется с тобой расставаться! Но послушай, поезжай в Москву, я буду тебе писать, а ты мне отвечать, ведь недаром же мы занимались с тобой два года. Вот и будем рассказывать друг другу о своем житье-бытье... – Она улыбнулась мне влажными от чувств глазами. – А обо мне не переживай, я связалась со своей кузиной, она живет тут недалеко за городом одна и рада принять меня в компаньонки.

– Ну, раз так, то я согласна, – сказала я, вздохнув и вытирая мокрые щеки рукой. – Забирайте меня в свою Москву, Леонид Петрович.

Уехать сразу не удалось, нового хозяина задержали дела, а я этому даже была рада. Я пыталась свыкнуться с этой новой ситуацией, собиралась, посетила все церкви, в которых молилась здесь, в Ленинграде, походила с Марией Константиновной по набережным и паркам, как бы на прощание. Во время одной из прогулок мы даже заходили в магазины на Невском проспекте, там барыня мне покупала всякие мелочи на память, а я ей, тоже на память, купила серебряный крестик на цепочке.

Через несколько дней, уложив все вещи в два свои чемодана, я была готова к новому этапу своей жизни.

Я была рада, что Леонид Петрович взял с собой лампу своего отца, ту самую, с зеленым стеклянным колпаком.

А получилось это так. Мы уже собрались и готовились выходить.

– Ну, Мария Константиновна, – сказал Леонид Петрович на прощание, – спасибо за приют, за то, что много лет скрашивали жизнь моего отца и обеспечили ему достойные последние дни и вечное успокоение. Спасибо за Лизу, которую как память о вас я увожу с собой в Москву. Хочу еще сказать одну вещь... – Он помолчал минуту, задумавшись и проведя медленно себе по лицу рукой, как бы ощупывая его или снимая невидимую пелену. – У нас с отцом были непростые отношения, сложившиеся такими еще с моего детства. Я не хочу разбираться, почему они такими были и кто виноват в том, что не было между нами близости. Но вы своей тактичностью и открытостью, своей любовью к нему, которую так просто и естественно мне здесь показывали каждый день, поселили во мне много мыслей, ранее меня не посещавших. А также чувств, – продолжил он, помолчав, – которые, видимо, жили где-то в глубине сердца, но еще спали. Я не знаю, увидимся ли мы с вами опять, но будьте уверены, я вас никогда не забуду.

– Нет-нет! – воскликнула моя теперь уже бывшая хозяйка. – Вы не можете так уехать! Что же вы не взяли совсем ничего отсюда на память? Так ведь нельзя – покидать дом, чувствуя, что, может, уже никогда сюда не вернетесь. Хоть что-нибудь, что напомнило бы вам о Пьере, который был, поверьте мне, достойным человеком... А что он не смог стать вам хорошим отцом, так это, видимо, не суждено ему было судьбой.

– Хорошо, – сказал Леонид. – Можно я возьму вот эту зеленую лампу? Она мне нравится, и в ней есть связь и с памятью об отце, и с вашим уютным домом.

– Конечно, берите! – ответила она с чувством и прижала руки к груди. – Я очень рада, что она будет у вас в доме. И раз уж вы так со мной откровенны, то позвольте и мне сказать вам кое-что. Я всегда молилась, чтобы вы с Пьером встретились. Встретились как отец с сыном. Сама по воле судьбы не имея детей, я чувствовала, как ему тяжело нести свое одиночество. Не осуждайте его, поверьте, он сделал много хорошего и нужного, а то, что вам не удалось встретиться и полюбить друг друга при его жизни... Так нам Бог дает еще шанс и после ее окончания. И пусть он вас и ваших детей хранит и оберегает.

С этими словами она подошла к Леониду Петровичу, перекрестила его и трижды поцеловала в щеки.

– А теперь идите, а то я сейчас расплачусь, – сказала она нам на прощанье.

* * *

Так закончилась моя жизнь в Ленинграде, в доме на Подольской улице, у людей, которые не только были моими хозяевами, но и во многом определили мою дальнейшую жизнь на годы вперед. Я часто их вспоминала, особенно когда протирала на столе зеленую лампу, раньше принадлежавшую профессору, или читала письма, приходившие мне иногда от Марии Константиновны.

Часть вторая. Леонид и Ольга



Третий дом Советов

Москва мне показалась значительно шумнее и многолюднее Ленинграда. Это я почувствовала сразу, как вышла из здания Ленинградского вокзала, куда мы приехали рано утром

на следующий день. Всё вокруг находилось в движении и было похоже на большой плоский муравейник.

Леонид Петрович оставил меня сторожить чемоданы на улице у выхода из вокзала, а сам легко сбежал по ступеням длинной и широкой лестницы вниз, к привокзальной площади. Там стояли пролетки, запряженные одной или двумя лошадьми, и автомобили с ожидающими возле них водителями. Хозяин подошел к одному из них и о чем-то стал договариваться, потом пригласительно махнул мне рукой и что-то крикнул. Я не расслышала: я в это время стояла со всем нашим багажом недалеко от парапета идущих вниз ступеней, и всё мое внимание было направлено вниз на площадь. Мне было всё хорошо видно с самого ее верха. Я смотрела на улицы, кишасшие пешеходами с чемоданами и сумками, видела, как разворачивающийся на площади троллейбус держится своими длинными усами за провода, натянутые, подобно ажурной паутине. Наблюдала за трамваями, пролетающими по блестящим рельсам со звонкими переливами электрических звонков, и спрашивала себя: «Что, это теперь мой город, мой новый дом?»

Хозяин позвал меня еще раз, уже более громко. В его голосе послышалось легкое раздражение, прямо как у Петра Игнатьевича.

– Тяжело, я одна не справлюсь, слишком много чемоданов! – прокричала я в ответ. Он, видимо, забыл, да снизу и не видно было, что у нас много багажа. Леонид Петрович быстро взбежал по ступенькам, и мы, забрав весь наш скарб, поехали на машине к нему домой.

– Третий дом Советов, – сказал он водителю адрес, тот кивнул, и мотор зарычал. Я сразу запомнила этот адрес.

Я первый раз ехала на машине, и мне было очень странно сидеть на холодной скрипучей коже сиденья позади водителя и хозяина под низким потолком крыши и смотреть на улицу через маленькие оконца в дверцах. Пахло бензином и кожей, машину подбрасывало на выбоинах дороги. Запахи были мне неприятны, хотелось открыть окно и вдохнуть свежего воздуха, но я стеснялась попросить. Мы ехали довольно долго, я смотрела по сторонам на новый для меня город, удивляясь широким центральным улицам, тоннелям и высоким зданиям. То там, то здесь развешивали флаги и красные транспаранты с лозунгами. Я спросила, зачем они это делают, и водитель ответил, что Москва готовится к Первомаю.

Мы подъехали к красивому трехэтажному дворцу, шофер сказал:

– Приехали! – и в голосе его прозвучало уважение.

– Заезжай во двор, я распоряжусь, – ответил Леонид Петрович.

Мы объехали дом сбоку. Там при въезде во двор стояла охрана в белой милицмейской форме и был шлагбаум. Леонид Петрович опустил стекло в передней дверце, высунул голову наружу и кивнул дежурному. Тогда нашу машину пропустили. Я поняла, что это дом не простой и люди здесь живут не простые.

Жили Межеричеры не в самом высоком доме-дворце, там было какое-то учреждение советской власти, а в прилегающем к нему длинном двухэтажном флигеле, покрашенном в белый цвет. Мы поднялись на второй этаж, и хозяин открыл дверь своим ключом. Услышав, что дверь открылась, к нам вышли и выбежали все домочадцы: жена, мальчик-школьник и маленькая нарядная девочка. Это, скорее всего, и была Люся четырех лет, за которой меня взяли присматривать. Еще вышла серая пятнистая кошка, хвост у нее торчал вверх трубой, изгибаясь лишь на самом кончике.

Мы познакомились. Жену звали Ольга Николаевна – миловидная, слегка полноватая молодая женщина невысокого, как я, роста. Она была приветливой и представила детей. Сначала Игоря, мальчика девяти лет. Она рассказала, что сын ходит в школу неподалеку от дома в третий класс и увлекается авиамоделями вместе с отцом. При этом она притянула его к себе и погладила по коротко постриженной голове. Он нахмурился:

– Ну мама, не надо, я уже не маленький!

Затем взяла на руки девочку и представила мне ее, а ей меня:

– Люся, это Лиза, она будет тебя любить и играть с тобой! Ну а теперь бегите к себе, взрослым надо поговорить, – добавила Ольга Николаевна и пошла, чуть прихрамывая, к открытым двустворчатым дверям ближайшей комнаты.

Молодая хозяйка стала меня расспрашивать. Она ничего обо мне не знала, только то, что ее муж взял меня в услужение. Он ей написал об этом второпях в письме из Ленинграда, которое успел отправить оттуда на второй день. Как оказалось, они часто писали друг другу письма, порою даже когда оба были в Москве. Удивительно и трогательно.

Ольга Николаевна показала мне квартиру. Она была более просторная и более представительная, чем ленинградская, но обставлена простой и современной мебелью. Не было старинных люстр, медных ручек, изогнутых ножек и плюшевых диванов, всё выглядело достойно, но строго, я бы сказала, по-военному. Оказалось, что Леонид Петрович и правда занимал раньше довольно высокую должность в военном ведомстве, несмотря на свой молодой возраст. Видимо, тогда он и привык к простоте домашнего быта.

Первой комнатой после обширной передней с длинной вешалкой, около которой тоже висел телефон, но посовременнее, чем у покойного профессора, был гостиный зал. Я не решаюсь назвать его комнатой, такой он был большой, наверное, в два раза больше, чем на Подольской улице в Ленинграде. Дальше располагался кабинет хозяина со шкафами до потолка, полными книг и журналов, с письменным столом – простым, струганым, но с огромной столешницей. Хозяйка пояснила, что на этом столе раскладывались армейские карты. Стол – это память Леониду Петровичу о службе в Красной армии, о Григории Котовском, с которым он и воевал, и дружил. Имя мне было незнакомо, но я понимающе кивнула и постаралась его запомнить. На столе лежало много бумаг и разных предметов, всё больше фотоаппараты в чехлах и без, линзы и объективы. Суконные шторы были открыты, и через окно виден двор и дети, играющие возле качелей.

Затем была спальня хозяев, простая, без изысков, с широкой кроватью и двумя тумбочками. У окна – детская кроватка, видимо для Люси. Вдоль той стены, где была дверь, стоял большой платяной шкаф с антресолями. Эта комната походила скорее на скромный гостиничный номер для супругов, чем на будуар жены важного чиновника, каким, видимо, был муж Ольги Николаевны. Напротив находилась детская – комната Игоря с кроватью, письменным столом, узкой полкой с книгами и всякой всячиной, видимо, важной для мальчика, и там стояла еще одна детская кроватка. На полу в ящиках виднелись его игрушки, сложенные как попало. Тут были и машинки, и кубики, и самолеты, и торчали рельсы от игрушечной железной дороги. Дальше располагался чулан без окна, но со светом. Когда хозяйка его зажгла, я увидела странный высокий прибор на столе, натянутые под потолком веревки с висящими на них прищепками для белья, бутылки темного стекла с какими-то жидкостями. Запах в чулане был неприятно сладким и химическим. Увидев мое удивленное лицо, Ольга Николаевна рассмеялась:

– Не бойся, это фотолаборатория. Мой муж редактирует журнал по фотоискусству в Советском Союзе и сам тоже снимает и печатает семейные фотографии. Здесь мы убираемся очень редко, так как это бесполезно.

За чуланом находилась просторная кухня с большой газовой плитой и шкафами с посудой. В одной из стен имелась широкая полукруглая арка без двери, ведущая в такое же по размеру помещение рядом. Там стоял круглый стол, пять стульев вокруг него и высокий детский стульчик – для Люси, как я поняла. У противоположной стены от двери был шкаф с праздничной посудой, напротив окна – еще одна дверь, в коридор, но она была закрыта, и в замке торчал ключ.

Ольга Николаевна сказала:

– Это кухня и столовая. У нас часто бывают гости, и мы устаем от приемов в гостиной. Поэтому когда мы одни, то едим вот здесь, в этой небольшой, но уютной столовой. А когда

ждем гостей, то здесь удобно и готовить, и украшать еду перед подачей на стол. Мы тогда приглашаем еще повара в помощь, раздвигаем широко этот стол, и работа кипит весь день.

За кухней находилась еще одна маленькая спальня. Хозяйка пояснила:

– Это гостевая комната. Здесь чаще всего ночует, когда приезжает нас навестить, моя свекровь Софья Абрамовна. Не удивляйся, если она сразу начнет тобой командовать, и, ради бога, не возражай, делай, как она говорит, она такая, и ее не переделать. Иногда приезжает мой папа, он священник в Риге, один раз приезжал мой брат Борис. Гостей ведь надо где-то размещать.

Дальше, у самого коридора, была еще одна комната – кладовка для вещей, но с окном. Здесь хранились чемоданы и всякое ненужное. Хозяйка повернулась ко мне:

– Мы эту комнату освободим для тебя, только перенесем вещи в другое место. Можем в кладовку на чердак, можем в еще одну комнату, которая есть у нас. Ты ведь видела запертую дверь в торце коридора? Это будет комната для Люси, когда она сможет спать одна.

На этом наша экскурсия по большой шестикомнатной квартире закончилась. Мы вернулись обратно в маленькую столовую, где Леонид Петрович ставил чайник, а сын Игорь под его руководством носил чашки на стол. Люся тоже была здесь, старалась сама залезть на свой стул и сердилась, что не получается. Хозяйка сразу подбежала к ребенку и взяла ее на руки:

– Лиза, запомни, ей нельзя сильно сердиться или плакать, это может вызвать эпилептический припадок!

– А может и не вызвать, – сказал, проходя мимо, Игорь.

– Вот видишь, на мужчин нельзя надеяться, они несерьезные, – вздохнув, сказала Ольга Николаевна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.